

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Л. Н. Толстой

**ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ**



Школьная библиотека (Детская литература)

Лев Толстой

Повести и рассказы

Издательство «Детская литература»

1885–1903

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Толстой Л. Н.

Повести и рассказы / Л. Н. Толстой — Издательство «Детская литература», 1885–1903 — (Школьная библиотека (Детская литература))

ISBN 978-5-08-005138-8

В сборник включены повести и рассказы позднего Толстого (1885–1903): «Холстомер», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцера соната», «После бала» и другие. Для старшего школьного возраста.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-08-005138-8

© Толстой Л. Н., 1885–1903
© Издательство «Детская литература», 1885–1903

Содержание

В сумерках	6
Повести и рассказы	23
Холстомер	23
Глава I	23
Глава II	25
Глава III	27
Глава IV	29
Глава V	30
Глава VI	34
Глава VII	37
Глава VIII	38
Глава IX	42
Глава X	42
Глава XI	44
Глава XII	46
Записки сумасшедшего	49
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Лев Николаевич Толстой

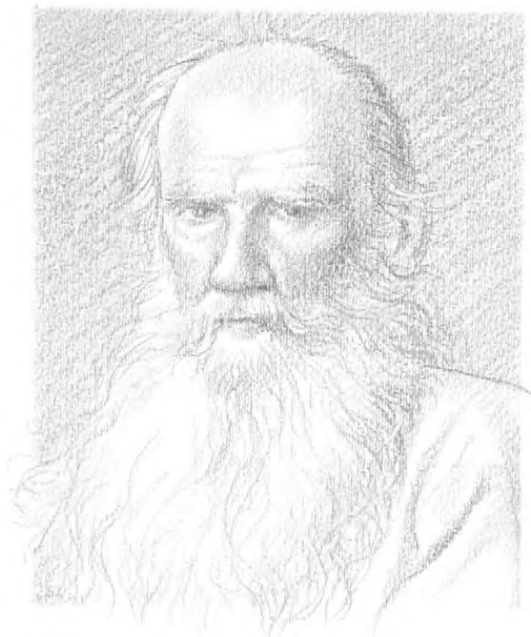
Повести и рассказы

© Гулин А. В., составление, вступительная статья, комментарии, 2008

© Дудин А. Л., иллюстрации, 2008

© Оформление серии. ОАО «Издательство «Детская литература», 2008

* * *



Лев Толстой

1828–1910

В сумерках



В самом центре современной Москвы, за Садовым кольцом, посреди района, который с давних времен носит название Хамовники, стоит ни на одну другую в России не похожая дворянская усадьба XIX века. Ее обступают уцелевшие до наших дней постройки первых времен русского капитализма: ткацкая фабрика, пивоваренный завод с высокой трубой – все из бурого, выдавшего виды кирпича. От улицы усадьба отделена резным деревянным забором, за которым виден такой же деревянный дом в два этажа, выкрашенный светло-коричневой краской. Стоит войти в ворота с небольшой сторожкой при них – и взгляду откроются внутренний дворик, калитка в сад, флигель, каретный сарай и боковая стена главного дома с обитой кожей дверью под козырьком. В доме и усадьбе сейчас музей. Здесь на протяжении почти двадцати лет с начала 1880-х годов, не считая летних месяцев, когда он уезжал в родовое имение Ясная Поляна, жил граф Лев Толстой, и здесь немолодой уже писатель встретил новое, XX столетие. Повести и рассказы, составившие книгу, которую только что открыл читатель, возникли в эту эпоху, так или иначе их создание связано с московским домом Толстого.

Усадьба Толстого в Хамовниках – место по-музейному тихое, осколок старины посреди бушующего города. Но тишина этого места странным образом не успокаивает. и даже просторный сад, расположенный за домом (сюда выходят окна всех главных его комнат), не приносит душе умиротворения. Весной, когда вдоль дорожек сначала пробиваются давно забытые в Москве подснежники, а позднее бурно и торжественно цветет сирень, осенью в листопад – он бывает очень красив. И все же что-то мешает вдыхать эту красоту легко и свободно. Конечно, обитателей усадьбы давно уже нет на свете. Искусственно берегаемое прошлое не может не вызывать у человека другой эпохи одновременно с интересом некоторую скованность. Тем не менее музейные условности тут ни при чем. Это само время, запечатленный в тысячах примет дух позднего Толстого наполняют тишину усадьбы тревогой и неприкаянностью. Во всем, что окружает тебя, ясно ощутима трагедия гениально одаренной личности, русская трагедия минувших столетий.

Художник и мыслитель, который жил в этих стенах, мечтал о мире и братской любви, о счастливом будущем всего человечества. Ему казалось, он открыл простой, ясный путь к достижению вселенской гармонии и блаженства. Он призывал всех и каждого отказаться от жизни в цивилизованном обществе, избавиться от вековых, как полагал он, ошибок истории, довериться только непосредственному чувству. Тогда, полагал Толстой, сам собой устроится рай на земле.

Искренность его устремлений, его громадный художественный дар привлекали к себе внимание всего света, тем более что Россия, мир двигались навстречу великим потрясениям. Многие современники хотели верить тогда, что писатель действительно знает, как предотвратить беду. Но искренне обеспокоенный наступающим разладом, остро улавливая мировое неблагополучие, Толстой, увы, не отдалял, а по-своему даже приближал катастрофу. Он обличал людские пороки, выставлял напоказ «болевы точки» общественного устройства и одновременно стремился разрушить, относя их к тем же «язвам цивилизации», самые прочные, вековые жизненные устои.

У Толстого на все была своя мера. И религиозное учение, которое он создал на склоне лет, доверяясь только собственным представлениям и чувствам, приводило его к постоянному спору с вечными законами мироздания, рождало титаническую попытку изменить эти законы. Он был и «зеркалом русской революции», и самой революцией в одном лице.

Теперь это видится более определенно. А четверть века назад, в 1981 году, когда судьба тесно свела меня с домом на улице Льва Толстого, мои впечатления были неясными, если не сказать растрепанными. Я бросил тогда редакцию всеми уважаемой отраслевой промышленной газеты, где уныло трудился несколько месяцев после окончания факультета журналистики Московского университета. И вот начинал новую жизнь в музее величайшего из писателей. Конечно, главное, что я испытывал, было счастье прикасаться день за днем к русской истории, русской литературе, которые так увлекали меня с детства.

Столичный музей Толстого объединяет несколько филиалов. Хамовнический дом – один из них. Туда меня поначалу и направили: готовить экскурсию, знакомиться с местом, а потом и водить группы посетителей.

На дворе стоял март. Все казалось новым и необычным. Однажды меня попросили выйти на работу в выходной день (случилась какая-то заминка с рабочими), чтобы очистить от снега крыши служебного домика и сторожки. Оба раза я влезал по лестнице на довольно покатуую крышу, обвязывал веревку вокруг печной трубы, перехватывал себя за пояс и, скользя, кидал лопатой на землю огромные слежавшиеся снежные пласты. Солнце светило тепло и ярко, от снега и мокрого железа на крыше поднимался последний зимний холод. Было жарко и свежо в одно и то же время. Иногда в увлечении работой у меня мелькала даже довольно глупая мысль, что вот и я, вслед за Толстым, «опрощаюсь».

Впрочем, ничего удивительного. Музей – культовое учреждение, тем более музей, посвященный одной личности. Особенно на первых порах здесь невольно начинаешь испытывать почти родственные чувства к постоянному герою своих размышлений, проникаешься, насколько это возможно, его настроениями. Если же со всех сторон тебя окружает созданная человеком повседневная атмосфера, тут и вовсе не избежать своеобразных «моментов перевоплощения». Мы изучали Толстого много и увлеченно, мы проводили в его доме немалую часть своей жизни и начинали поэтому временами видеть мир как бы «из Толстого». Конечно, толстовцами в полном смысле этого слова ни я, ни мои сотрудники не стали. Более того, нас нередко смешили иные житейские и творческие «чужачества» немолодого писателя (скажем, попытка титулованного дворянина научиться тачать сапоги не хуже профессионального сапожника или стремление «разоблачать» Шекспира как посредственного драматурга), но смешили тепло и по-домашнему. Хотели мы этого или нет, а толстовская мера вещей проникала в наши отношения с действительностью. Не говоря уже о том, что поздний Толстой, его образы, суждения и оценки, нередко выглядел для нас последним критерием истины, когда заходила речь о России, да и о целом мире.

До моего появления в музее Толстого я знал повести и романы писателя не только по университетскому курсу. «Война и мир» со школьной поры волновала меня необыкновенно. Когда в юности я впервые оказался на Бородинском поле, то невольно представлял себе на Курганной высоте большую и неуклюжую фигуру Пьера Безухова, пытался определить место,

где стоял в резерве полк Андрея Болконского. Глядя на Псаревский лес, где находились во время сражения русские перевязочные пункты, я воображал встречу раненых князя Андрея и Анатоля Курагина... Меньше занимал меня в то время роман «Анна Каренина», хотя его безбрежная, «воздушная» поэзия (совсем не то что почвенное цветение «Войны и мира») уже покорила меня раз и навсегда. Из позднего Толстого я любил какой-то особенной тихой любовью мятежную и сокровенную повесть «Хаджи-Мурат».

Но была в Толстом огромная область, ранее для меня почти неведомая. Я, конечно, имел смутное (как большинство из нас, особенно в ту эпоху) представление о его поздних духовных исканиях, читал трактат «Исповедь», но даже и представить себе не мог истинный размах религиозно-философского, публицистического творчества писателя в последние десятилетия его жизни. Трактаты «Исследование догматического богословия», «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?», огромный по объему трактат «Царство Божие внутри вас» (его черновики, как я узнал тогда, составляют одиннадцать тысяч листов), необъятных размеров книга «Соединение и перевод четырех Евангелий», масштабные книги афоризмов «Круг чтения» и «Путь жизни», десятки малых трактатов и статей...

Все это обрушилось на меня, ошеломило, стало открытием. Все это, даже с точки зрения профессиональной, следовало прочесть или хотя бы на первое время внимательно просмотреть. Ведь огромная часть религиозно-публицистических сочинений писателя создавалась прямо здесь, в хамовническом доме. Как можно было понять без них его поздние художественные замыслы, его жизнь последних десятилетий? Наивно, почти по-детски приходилось и мне решать главную проблему толстовского творчества: где кончается в нем философия и где начинается собственно литература?

Обычно принято думать, что человек, выйдя из юношеских лет, уже сформировался как личность. Так должно быть. Увы, сегодня хорошо видно, что люди моего поколения – те, кто начинал самостоятельную жизнь на рубеже семидесятых – восьмидесятых годов прошлого века, – очень редко имели устойчивые понятия о мире и о себе, легко терялись и путались в окружающей действительности. Конечно, главные представления о том, что хорошо, а что плохо, большинство из нас получили из вековой, сохранившейся всему вопреки культурной традиции, усвоили их в домашнем быту, в общении с друзьями, но ответить на вопрос: почему мы поступаем и чувствуем так, а не иначе? – смогли бы очень немногие.

Да и всегда ли эти представления были истинными? И в частных отношениях, и в поступках гражданских мы сами порой не ведали (ведаем ли сегодня?), что творим. Не говоря уже о той картине мира, которая открывалась, исключая, быть может, немногих, каждому из нас. В школе, в институтах и университетах все мы учились историческому и диалектическому материализму, а в душах и умах царствовал величайший беспорядок. Ущербная идеология была не в состоянии объяснить русским юношам их прошлое и настоящее, объяснить их самих. И мы со всей силой молодости блуждали в тумане, увлекались вещами полезными и бессмысленными, ничего не могли собрать воедино, набивали шишки на ровном месте, разочаровывались, тосковали...

Кто-то из моих сверстников уходил с головой в сочинения Ницше, Шопенгауэра, Кьеркегора... Все это читалось по дореволюционным, бог весть какими путями (запретный плод казался тем более сладок) добытым изданиям. Иные ни с того ни с сего начинали увлекаться буддизмом. Некоторые (чаще для культурного ознакомления) открывали Библию, разумеется в большинстве случаев плохо сознавая, что перед ними Божественное Откровение. Такая мера вещей для нас как бы не существовала. Помню, когда мне впервые предложили («из-под полы», как тогда говорилось) купить Священное Писание, я посомневался недолго и решил (любимое самооправдание атеистов), что книга эта мне не нужна, потому что там все равно ничего не понятно. Но одновременно у меня почему-то существовал устойчивый интерес к древнеиндийскому эпосу Махабхарата...

На первом же месте, конечно, стояла для нас художественная литература. Общество наше было по преимуществу литературным, оно, несмотря на все потрясения, унаследовало эту традицию от минувших веков. Русский театр, кинематограф, музыка, изобразительное искусство – все так или иначе испытали на себе мощное воздействие художественного слова. Поэзия, проза представлялись нам (представляются многим и сегодня) едва ли не высшими из возможных проявлениями духовной жизни. А в том, что духовность пребывает исключительно в культуре, что следить за литературными новинками, посещать выставки, ходить в театр, кино или на концерты – значит жить полноценной и насыщенной духовной жизнью, не сомневался тогда почти никто. В нашем «горизонтальном» (впрочем, часто очень разнообразном и напряженном) существовании мы ведать не ведали о причинах, жили одними только следствиями – и нередко боготворили эти следствия. Культурное достояние, оставленное предками, лучшие создания дня сегодняшнего, естественно, мы продолжали воспринимать в сугубо земном измерении. Чем выразительнее, тем духовнее – казалось многим из нас. Материалистическая наука об искусстве, прочно увязывая чувственное и духовное, даже придумала (как будто речь велась о кулинарии!) такой особенный термин – «эстетическое наслаждение».

Вот в эту легкомысленную, хотя по-своему очень счастливую эпоху я и узнал религиозно-философские трактаты Толстого, заново перечитал его поздние художественные сочинения. Нельзя сказать, что они решительно изменили мою жизнь. Воздух времени, изо дня в день пребывающая с тобой «невыносимая легкость бытия» делали любые впечатления словно необязательными, случайными. Тем не менее какая-то новая мера вещей подспудно открывалась уму и сердцу при этом чтении. Мысли о невозможности для человека жить без веры, о жизни как приготовлении к смерти, о бытии нравственном и безнравственном – в зависимости от того, как исполняет человек на земле Божеские законы, – звучали здесь настолько пронзительно, что трудно было не откликнуться на них, пусть даже и мимолетно.

Размышления писателя о мировом устройстве, к чему бы они ни относились – к государству, войне, революции, к промышленному развитию, гражданским отношениям в обществе, – тоже поражали неизменно религиозным взглядом на вещи. Само сознание того, что ты читаешь нечто религиозное, что перед тобой картина мира, построенная по каким-то прежде неведомым тебе законам, было волнующим и тревожным.

Сегодня хорошо видно: не один Толстой предлагал разуверившимся потомкам и своим современникам выйти из порочного круга атеизма. Более того, выход, им предлагаемый, в итоге, вероятно, грозил еще худшими опасностями, чем простое неверие. Гоголь, Достоевский были в этом смысле куда как надежнее. А разве Пушкин всем строем своего творческого космоса не утвердил на века духовные истины русского мира? Но мы редко способны были в то время отличить грешное от праведного. Даже в литературе Древней Руси мы продолжали искать только «эстетическое наслаждение», даже иконы, помещенные в музеях, разглядывали так или почти так, как смотрим на картины художников-передвижников. А с поздним Толстым ничего подобного не получалось. В его трактатах, его статьях открыто звучал голос чуть ли не современного нам религиозного проповедника. При нашем исключительном доверии к литературе важно было именно то, что это – художник-проповедник.

* * *

Художественные произведения, созданные писателем на склоне лет, конечно, строились по иным законам, чем его публицистика. Но это и не было что-то совсем отдельное от проповеди Толстого. Поэтические образы гораздо откровеннее, по сравнению с «Войной и миром» или «Анной Карениной», служили ему теперь для утверждения собственной веры. Все восходило в этой прозе к единому, оформленному с годами духовному центру. Временами, как то происходило в романе «Воскресение», повести «Крейцера соната», художественный рас-

сказ у Толстого даже прямо уступал место моральному воззванию. Да и самый выбор сюжетов, не говоря уже о творческом их развитии, выглядел здесь откровенно поучительным. Толстой намеренно выставлял на всеобщее обозрение «неудобные» стороны жизни, те обстоятельства, о которых его современники (люди XX – начала XXI века мало чем от них отличаются) предпочитали не говорить и не думать. Между тем эти болезненные для каждого обстоятельства затрагивали нечто самое главное, для чего человек приходит на свет.

Грандиозный роман «Воскресение» меньше увлекал меня в те годы. Очень многое в нем, казалось, принадлежит все-таки уже далекому времени. Но «Смерть Ивана Ильича», «Крейцера соната», «Записки сумасшедшего», «После бала» прямо относили читателя к вещам, не подвластным никаким переменам.

Эмоциональное воздействие этих произведений всегда огромно, в каком бы возрасте ты их ни читал. Первая, еще в юношеские годы, встреча с повестью «Смерть Ивана Ильича» произвела на меня настолько ошеломляющее впечатление, что я просто не в силах был увидеть здесь ничего, кроме пугающего, «мучительного» сюжета. Открыл повесть, ожидая найти нечто классически прекрасное, и вдруг погрузился в пучину страданий смертельно больного человека, в переживания смерти, показанные «изнутри» с какой-то незнакомой, единственной в литературе силой перевоплощения. Казалось, то была не литература, а сама жизнь. Точно так же «Крейцера соната» с ее картинами домашнего кошмара и убийства жены отчаявшимся мужем (сам он рассказывает попутчику в вагоне поезда о том, как это приключилось). А другой кошмар, испытанный героем «Записок сумасшедшего» в одиноком гостиничном номере? А наказание (мучительное убийство) шпицрутенами провинившегося солдата в рассказе «После бала», созданном на материале памятных Толстому 1840-х годов? Вечный дар художника изображать придирчиво точно внутреннюю жизнь своих героев, «опрокидывать» события внешнего мира в их душевный космос оказался теперь необычайно резким, шокирующим, способным выбивать читателя из привычной колеи.

Перечитывая толстовские повести и рассказы в новую жизненную пору, уже прикоснувшись к религиозно-философским сочинениям писателя, нельзя было не увидеть здесь развитие одних и тех же дорогих Толстому идей.

Вот жил себе Иван Ильич поживал, как вдруг нестарым еще человеком заболел и умер. Был он неплохо устроен в жизни, занимал видное общественное положение, имел жену и детей, обзавелся удобной квартирой. И вдруг в момент самого полного благополучия оказалось, что все это не то, что надо встречать смерть, а встречать ее не с чем. Ничего, кроме внешних суетных забот, интересов приобретения и потребления, поиска удовольствий, не было в сознательной жизни Ивана Ильича. Тут легко приходили на память герои-автоматы из «Войны и мира» (какой-нибудь Берг, наконец-то заполучивший в момент оставления русскими Москвы желанную шифоньерочку, или Борис Друбецкой, женившийся «на пензенских имениях» Жюли Карагиной), судейские чиновники (Иван Ильич тоже служил в суде) из более позднего «Воскресения», занятые каждый своими эгоистическими заботами, а не судьбой человека, которого они судят. Тут наряду с толстовскими маленькими наполеонами невольно вспоминался и сам император Наполеон, погруженный «в безумие эгоизма».

Ужасна была смерть Ивана Ильича – от непонятной мучительной болезни, в полном моральном одиночестве. Но еще более ужасной (Толстой настаивал на этом) была его жизнь. Ведь Иван Ильич ни во что не верил, никого не любил (заботу о материальном благополучии своих близких трудно назвать любовью), существовал для собственного удобства и, скорее всего, думал, что так будет продолжаться вечно. Именно безумная, даром потраченная жизнь Ивана Ильича повлекла за собой столь страшную смерть. Даже сама его смертельная болезнь словно нечаянно возникла прямо из этой погони за удобствами – после того как он упал с лестницы и ударился во время обустройства своего нового комфортабельного жилища.

Движение героя повести навстречу смерти оказалось невыносимо трудным, сродни кошмару. При этом было очевидно, что для писателя смерть – не просто исчезновение, но переход, возвращение человека к тому началу бытия, из которого он вышел на свет, с которым связано все подлинное, живое в его земном существовании, все, о чем долгие десятилетия ведать не ведал Иван Ильич. И вот теперь холод и пустота минувших лет, злоба на весь мир за эти несправедливые, казалось герою, страдания не пускали его навстречу тому великому, что ожидает людей за гробом. И никто из окружающих не мог понять, как не понял бы и он сам, наблюдая в минувшие годы болезнь и смерть другого человека, всей значительности происходящего с Иваном Ильичом. Люди привычного ему круга, даже жена и дети, видели в этом мучительном угасании только нарушение своей приятной, посвященной удовольствиям жизни. Наступившая смерть героя (произведение начиналось именно с рассказа о том, как восприняли это известие сослуживцы Ивана Ильича) вызвала у всех, кто его знал, одновременно с приличными случаю сожалениями, кажется, лишь новую жажду наслаждений. Разумеется, художник выступал в этом случае не только проникновенным психологом...

Картины семейной жизни всегда занимали в творчестве Толстого исключительное место. И в «Войне и мире», и в «Анне Карениной» семья выглядела едва ли не главным положительным полюсом земного бытия. Писатель без преувеличения открыл для мировой литературы великую поэзию семейных, домашних отношений в тончайших ее оттенках. Но вот написанная в поздние его годы «Крейцера соната». Двое измученных браком людей, в жизни которых безобразные, убийственные столкновения-«сцены» лишь на время сменяются гнетущей, сумеречной тишиной. Дети, с малых лет отравленные впечатлениями этой вражды. Прислуга, которая впитывает атмосферу несчастного семейства... И наконец, трагедия – в припадке ревности муж убивает жену.

Казалось бы, случай ненормальный, патологический. Однако за этим «вывихом» слишком хорошо угадывались судьбы великого множества по видимости благополучных семей. Позднышев, главный герой повести, жил так, как живет подавляющее большинство людей его круга: в молодые годы отдал дань порочным удовольствиям, а пришло время – женился на молоденькой девушке из хорошего семейства. Семья казалась ему только новым (теперь уже законным) удовольствием. Его невинная будущая жена тоже невольно усвоила из окружающего мира разлитые в тысячах знакомых с детства вещей (повседневных разговорах, нормах поведения, модах) представления о том, что женщина – это, прежде всего и главным образом, «объект желания», что тем самым она обладает почти неограниченной властью над всеми «жаждущими». Но люди – не животные. Телесные «радости брака», жизнь, построенная на одном только чувственном влечении, создали нечто уродливое, разве что по внешним формам похожее на семью. Более того, они постоянно несли в себе возможность явной катастрофы. Супруги Позднышевы, сами не понимая, отчего так происходит, все глубже заходили в казавшийся безвыходным тупик.

Читая эту очень откровенную, по меркам своего времени, даже невозможно откровенную повесть («Крейцера соната» стала причиной общественного скандала, вызвала к себе нездоровый интерес), трудно не увидеть и в ней глубинной религиозной мысли. Исповедь убийцы Позднышева (по суду он был оправдан) своему случайному попутчику на железной дороге заключала так много горькой правды о мире атеистическом, ослепленном, о повседневных невидимых ужасах его существования. Утрата, забвение вечных истин семейной жизни: терпения, жертвенности, самоотречения, служения большему, чем твое отдельное «я», высшему началу – делают эту жизнь с ее повседневными тяготами и трудами почти непереносимой. Сам Позднышев, сломленный совершенным преступлением, похож, стал человеком вконец разуберившимся, не желающим знать ни о каких духовных законах мироздания. Умный, желчный, искренний рассказ героя звучал поэтому удручающе-безнадежно.

Гораздо более оптимистичной (во всяком случае, с точки зрения автора) выглядела судьба центрального персонажа другого позднего произведения писателя – рассказа «Записки сумасшедшего». Жизнь этого человека на протяжении многих лет мало чем отличалась от жизни Позднышева или Ивана Ильича. Но странное происшествие – внезапно испытанный героем (он находился в поездке и остановился на ночлег в обычной провинциальной гостинице) ужас смерти, точнее, ужас собственной жизни, бессмысленной перед лицом смерти, – перевернуло весь его внутренний мир, заставило отречься от привычного и удобного существования. Еще прежде, чем наступила катастрофа, герой понял, что можно жить не только для тела, но и для души. Сумасшедший с точки зрения людей своего круга, он решил избавиться от мирских привязанностей, жить с народом. . . Куда привело его это решение, на каких путях – грешных или праведных – продолжились его искания, так и осталось неизвестным. Рассказ не был закончен.

Что и говорить, в атеистической стране, провозгласившей основным жизненным принципом «удовлетворение постоянно возрастающих духовных и материальных потребностей», наследие позднего Толстого, художника и мыслителя, будоражило, открывало молодому человеку почти незнакомые ценности бытия. Сильнее, чем любые другие впечатления тех лет, оно заставляло меня временами (но только временами) думать о Боге как о начале действительно существующем, о нравственных истоках земного счастья и несчастья. Между тем мысли эти, направленные именно по толстовскому руслу, странным образом не приносили радости, успокоения. Они то откровенно пугали, то становились утомительными и скучными.

Молодости свойственно бездумно отмахиваться от вечного, «ловить мгновение», тем более когда весь мир вокруг тебя располагает к этому. Но не только молодость была тому причиной. Обжигающая правда поздних произведений писателя почему-то казалась мне уже тогда правдой неполной, односторонней, и от этого как бы разительной сверх всякой меры. «Это потому так кажется, – говорил я себе, – что ты заодно с героями Толстого, ты живешь по тем же губительным законам, а Толстой знает нечто большее, непонятное тебе, духовное». Только весь опыт еще недолгой жизни: все дорогие мне связи с родными, друзьями, мое восприятие Русской земли, мировой истории, культуры, в том числе лучших страниц «Войны и мира», «Анны Карениной», – не позволял довериться писателю в поздних его творениях окончательно и бесповоротно.

Главное, что меня тревожило, – здесь как будто совсем не было света. Темные стороны жизни, зорко увиденные опасности и угрозы безбожного существования изображались художником, что бы он там ни думал и к чему бы ни стремился, с такой же безнадежно мрачной точки зрения. И от этого действительный мрак становился вопиюще непроглядным, как бы произвольно сгущенным. Неужели в сознательной жизни Ивана Ильича все, все без исключения, оказалось настолько уродливым и ужасным? Неужели семейство Позднышевых не знало никогда мгновений радости и счастья? Положим, сам несчастный рассказчик-женоубийца мог находиться в подобном заблуждении. Но разве была в повести мера вещей бóльшая, чем этот пронзительный рассказ?

Что же касается «философии брака», которую проповедовал Позднышев, то она и вовсе приводила в недоумение. Горькие истины, открытые героем в семейном быту, оборачивались тут полным развенчанием семьи, безоглядным осуждением даже и в семейной жизни плотских, «свиных» отношений мужчины и женщины, приводили к очевидной демагогии в вопросе о продолжении человеческого рода. «Но Позднышев – не Толстой, он только литературный персонаж», – замечал я с полным на то основанием. И открывал «Послесловие к „Крейцеровой сонате“», где находил многие из тех же мыслей, высказанных писателем уже «от себя», «в пояснение» к собственной повести.

Странное, двойственное чувство оставляло во мне это прикосновение к духовной жизни «через Толстого». С одной стороны, вопросы вероисповедные, религиозные впервые встали

передо мной как вопросы самые существенные. С другой же стороны, оказались они настолько смутными, даже гнетущими (как бы ни убеждал я себя в обратном), что невольно хотелось от них избавиться. Почитаешь, подумаешь – и через час, через день, через неделю невольно себе признаешься: если такова духовная жизнь, то до чего же она грустна!

Иначе и быть не могло. Картина мира, созданная писателем в поздних его произведениях, как ни одна другая, точно запечатлела недуги и конфликты русской жизни в их непосредственном, чувствительном проявлении. Но все же тут возникла совершенно особая творческая вселенная со своими исключительными законами и ценностями.

Психологическая правда художественных картин и образов почти всегда подчинялась у позднего Толстого его собственным представлениям о добре и зле, о путях исцеления страдающего человечества. Толстой не верил, подобно поколениям своих соотечественников, что мы живем в мире прекрасном, но все-таки грешном, что каждому из нас после смерти предстоит держать ответ за наши дурные и добрые дела, что в жизни вечной есть Царство Небесное – рай, уготованный праведникам, и «геенна огненная» – ад, куда попадут грешники. Мир не казался ему полем битвы за живую душу между Святой Живоначальной Троицей и врагом человеческим – дьяволом.

Писатель думал и учил, что все устроено проще. Есть бесконечное, доброе, безличное начало – Бог. И есть человек, животное, растение – своего рода нервные окончания этого великого целого. Психическая, эмоциональная жизнь представлялась Толстому божественной, совершенной (вся сложность мира как раз и состояла для него в бесконечном многообразии «чувствительных» явлений). Каждая мысль, каждый поступок человека, полагал он, божественны, «праведны», если они подсказаны непосредственным переживанием. Все прочее – ошибка цивилизованного развития. Достаточно освободить чувство от всего «головного», отвлеченного, довериться ему – и мир засияет светом любви и добра. А придет время умирать – каждый из нас, утратив собственную личность, просто (не так, как посвятивший себя «отвлеченностям», забывший в повседневных страстях «истину чувства» Иван Ильич) сольется с безличным божеством. В жизни, казалось писателю, нет и не может быть виноватых, есть только «понимающие» и «непонимающие». И он хотел сделать «понимающими» всех.

Конечно, «революция Толстого» началась много раньше. Мысли основать новую религию, «не обещающую будущее блаженство, но дающую блаженство на земле», посещали художника уже и в молодую пору. Воспитанный в православной вере Толстой рано познакомился также с далекими от христианства философскими учениями Запада. Самую же дорогую для себя «внутреннюю опору» он нашел в сочинениях французского мыслителя и романиста Жан Жака Руссо, провозгласившего, что живая природа, эмоциональный мир человека священны.

Юноша Толстой скоро почувствовал себя обладателем собственной веры. Долгие десятилетия он то слабел в этой вере, то заново укреплялся в ней. Явно или потаенно она дала о себе знать во всех его жизненных начинаниях, его непостижимо богатом раннем и зрелом художественном творчестве. На рубеже 1870–1880-х годов наступил решительный момент, когда убеждения писателя оформились и укрепились. Он выступал отныне как религиозный учитель, готовый переустроить вселенную.

Вот откуда возникала разительная парадоксальность позднего творчества писателя. Толстой изображал действительный мир, утративший память о Боге, но при этом все-таки имел в виду по большей части своего собственного бога, а стало быть, сам принадлежал этому грешному миру. Толстовская духовность вся «разместилась» в области земных естественных переживаний. Величие и драматизм мировой духовной борьбы – борьбы дьявола против Бога, перенесенной в земной мир, суть и смысл истории как движения отпавшего от Бога человека к новому соединению с Творцом через череду отступлений, падений, катастроф словно остались за пределами позднего творчества художника. Он прекрасно слышал отголоски этой великой брани, но был уверен, что тут совершается «иная борьба»: между «человеком чувствитель-

ным» и пленившим его «нечувственным», цивилизованным порядком вещей. Художественный образ бытия становился одновременно упрощенным (при всем его психологическом богатстве) и крайне запутанным в своем отношении к действительности.

* * *

Ту часть хамовнического дома, где расположен кабинет писателя, Толстые в шутку называли «катакомбами». Это антресоли – половина второго этажа с необыкновенно низкими потолками, никогда не подвергавшаяся перестройке. Из большого зала спускаешься по нескольким высоким деревянным ступенькам – и попадаешь в темный коридор. Пройдя в сумерках мимо комнат по сторонам (коридор освещен только из открытых дверей), упираешься в небольшое помещение со столиком для сапожных работ, простым платяным шкафом, умывальным прибором. Рядом – крутая лестница на первый этаж, к черному ходу. За стеной рабочей комнатки, под таким же низким потолком, – кабинет Толстого.

Прикосновение к повседневной жизни великого человека всегда или почти всегда вызывает у нас чувство наивного удивления. Нам нелегко соединить в сознании внутренний мир творца и тесные земные рамки, в которых он осуществился. И потому эти мелочи быта, такие знакомые каждому, эти понятные, видимые приметы творческой работы по контрасту с масштабом личности особенно трогают нас. Но, сами того не замечая, растроганные «привычками обихода», мы уже начинаем узнавать человека «в его сердцевине», незваные гости, посещаем его «душевный дом».

Обычно кабинет Толстого можно увидеть только из дверей соседней, рабочей комнаты. За годы, проведенные в музее, при разных обстоятельствах я несколько раз видел его изнутри. Обтянутый зеленым сукном письменный стол «с решеточкой». Он стал знаменит благодаря портрету, написанному с натуры художником Николаем Ге, другом и религиозным сподвижником Толстого в последние десятилетия XIX века. Толстой писал и Ге писал, наблюдая за ним вот примерно отсюда, где теперь находишься ты. Тут же, в комнате, – пюпитр; к нему писатель становился, уставая работать сидя. Обтянутые черной кожей большие диван и кресла. Книг почти нет: библиотека во все время московской жизни Толстых оставалась в Ясной Поляне (сотни необходимых Толстому для работы изданий приносили ему из библиотек). Весь пол покрыт шинельным сукном – шагов не слышно. За окнами сад.

И внутренняя обстановка кабинета, и еще больше его уединенное расположение в доме, это шествие к нему через темные «катакомбы» невольно приводят на память все, что ты слышал и знаешь о монашеских кельях, где посвящают себя молитвенному труду, о подвиге первых христиан, уходивших под землю от гонений языческого мира. Но ясно, что перед тобой какая-то особенная келья – без икон, без креста. Кабинет довольно просторен. Может быть, именно это обстоятельство в сочетании с низким потолком вызывает непреодолимо «горизонтальное» чувство, словно ты можешь сколь угодно далеко двигаться вширь, но не в силах подняться выше определенного предела. Почти как та духовность, что открылась тебе в повестях и трактатах Толстого. И несмотря на всю свою слепоту в духовных вопросах, ты понимаешь: если коридор – это катакомбы, то катакомбы именно в переносном значении слова, если кабинет – это келья, то келья, где веруют и молятся на свой отдельный манер. Словно какая-то новая сила стремится тут облечь себя в тысячелетние формы отеческой святости.

С домом в Хамовниках сегодня прочно связано представление о перевороте в жизни и мировоззрении Толстого на рубеже 1870–1880-х годов. И действительно, здесь полнее, чем в Ясной Поляне, которая помнит также и другие времена, ощутима атмосфера «послепереломной» жизни писателя. До чего же трудно было понять самому, тем более объяснить на экскурсиях, что происходило с Толстым в поздние его годы! Так ли это просто сделать и сегодня?

В ту пору нам предлагался и даже считался обязательным вполне определенный ответ: граф Толстой «перешел на позиции патриархального крестьянства». Многие в обстановке хамовнического дома подтверждали эту ленинскую формулу. Стремление писателя «оторваться» от своего сословия, переменить жизнь барина на жизнь мужика ясно угадывалось тут по многим вполне очевидным приметам. Разве не служили лучшим тому доказательством его личные комнаты? Зато обустроенная по вкусу жены писателя, Софьи Андреевны, ее любимая красная гостиная ни в чем не походила на расположенные рядом рабочую комнатку Толстого, его кабинет-келью. Сам он не любил эту огромную и яркую гостиную, осуждал ее богатое, «дворянское» убранство. Впрочем, не имея возможности увлечь за собой семью (кроме обосновавшейся в «катакомбах» – поближе к отцу – дочери Марии, никто из домашних не разделял вполне его убеждений), Толстой оказался вынужден, как и другая сторона, идти в повседневном быту на компромиссы.

В творчестве, однако, он был непримирим. Мысли о нравственном превосходстве трудовой жизни народа над «паразитическим сумасшествием» господ постоянно звучали в ту эпоху на страницах его трактатов и статей. Художественные замыслы Толстого так или иначе тоже развивались в этом русле. Нельзя было не увидеть, особенно по контрасту с картинами бессмысленного «барского прозябания», как «теплел» художник, едва заходила речь о мире народном, крестьянском. Даже люди, потерявшие себя, но все-таки связанные с народной средой, выглядели, с точки зрения писателя, далеко не столь «безнадежными», как Иван Ильич, как великое множество других «погубителей» собственной жизни.

Казалось бы, купец Василий Андреич Брехунов из большого рассказа «Хозяин и работник» был во всем сродни опустошенным, не ведающим ни о чем, кроме собственного благополучия, персонажам позднего Толстого. Главной, любимой его заботой сделалось приобретение, увеличение и без того немалого богатства. Довольство собой, чувство своей непогрешимости вошли у него в плоть и кровь. И вот неутолимое стремление к наживе (он хотел успеть раньше других выгодно купить рощу у соседа-помещика) однажды повлекло Василия Андреича из дому в ненадежную зимнюю погоду, заставило по начавшейся метели, уже раз заплутавши, пуститься опять в дорогу, обрекло на смерть окончательно сбившихся с пути хозяина и его работника Никиту. На краю гибели, в открытом поле, ночью, посреди снежной бури Василий Андреич, еще не понимая как следует, что его ожидает, все утешался, перебирая в уме нажитое имущество. Он даже решил поначалу (оправданием служили ему мысли о собственной значимости и превосходстве над «никчемным» Никитой) бросить работника замерзать одного, лишь бы самому уцелеть. Но пробил последний час, и потерявший себя в мирской суете хозяин опомнился: накрыл едва не погубленного им Никиту своим тяжелым телом, накрыл как брата, сам замерз, а работника спас.

Этот трогательный рассказ заметно отличался от увидевших свет в одну с ним эпоху произведений писателя, посвященных избранным сословиям, «паразитам жизни», как называл их теперь Толстой. Мне же всегда казалось, что «Хозяин и работник» занимает особое место и среди «народных» замыслов позднего Толстого – так много в нем свободной, непреднамеренной поэзии. Захватывающе яркими оказались на его страницах картины народного быта, зимней природы, образы людей, встреченных путниками в дороге, даже образы животных.

Между тем, конечно, бросалось в глаза, что особенно дорогим для писателя выглядел здесь труженик Никита, не чуждый человеческим слабостям, но безропотный, неутомимый, любящий все, что окружает его в мире. Именно этот образ на протяжении рассказа служил постоянным напоминанием о ценностях жизни, которые «померкли» для увлеченного стяжанием Брехунова. Писатель определенно видел в нем отражение последней народной правды, какой она представлялась ему в «послепереломные» годы. Не случайно в повести «Смерть Ивана Ильича» появлялся однажды словно другой Никита – такой же кроткий, трудолюби-

вый буфетный мужик Герасим, единственный среди всех способный понять, что происходит с героем («Все помирать будем»), и готовый своим участием облегчить страдания умирающего.

Толстой никогда, даже и в поздние свои годы, не был склонен приукрашивать людей из народа. В том же «Хозяине и работнике» угадывалось проникновенное знание народной среды, в том числе ее тяжелых, мрачных сторон. Но такие всесторонние, богатые описания русского почвенного мира всегда заключали в себе (в отличие от беспросветных картин «господской» жизни) некие «проблески» идеала. И странным образом идеал этот почти не отличался от того «природного» источника добра и света, который утверждался в повести «Холстомер» – настоящем жизнеописании лошади.

Пожалуй, ни одно другое произведение Толстого не создавалось так долго и не было настолько дерзким, экспериментальным. Пегий мерин, который рассказывает другим лошадям свою историю, – этот замысел появился у писателя еще в конце 1850-х годов. Но вернулся Толстой к давним-давно отложенной рукописи только четверть века спустя, уже в «послепереломное» время. Новые идеи заметно преобразили то, что было намечено много лет назад. В повести одновременно с рассказом лошади укрепился «человеческий» сюжет, зазвучало явное противопоставление изуродованной людьми, но прекрасной жизни Холстомера и бессмысленной, дикой, даже отвратительной судьбы бывшего одно время его владельцем «ходячего мертвеца» князя Серпуховского. Особенно разительным оказался контраст между посмертной участью одного и другого. Зарезанный по старости Холстомер (его уход, показанный «изнутри», – мощная и едва ли не самая удивительная картина смерти у Толстого) просто слился с природой, послужил продолжению жизни. А Серпуховской и после своей физической смерти оказался ни на что не годен. Обычно несвойственный Толстому вызывающий натурализм в описании этого затянувшегося погребения предельно заострял новые мысли писателя о жизни людей своего круга. В нем появилась брезгливая, даже как будто мстительная интонация.

Как часто слышалась она в публицистике, в религиозных трактатах Толстого! Отречение от «прогнившего», по его мысли, дворянского сословия сопровождалось у писателя гневным осуждением ненавистных ему отныне условий существования, осуждением порой даже собственного творчества минувших лет. И все это протекало под знаком вновь обретенной «мужицкой правды». Только правда эта, какой она виделась Толстому, почти не выходила за границы живой природы, подчинялась ее простым, чувствительным законам, была правдой Холстомера.

Не знаю, память ли о моих прадедах-крестьянах, простое ли чувство справедливости, но только что-то не позволяло мне согласиться вполне с таким вот естественным пониманием народной жизни. Писатель словно хотел наделять эту жизнь своим, глубоко личным (разумеется, выстраданным), представлением о ней. Но при чем здесь тогда «переход на позиции патриархального крестьянства»? Это, скорее, «наполнение» жизни крестьянина (так хорошо знакомой Толстому по внешним приметам, по ее психологическому рисунку) новым, самовольно определенным жизненным смыслом, в лучшем случае, высвечивание в народном мире (временами до искажения зрительной перспективы) только природных, чувствительных сторон бытия. Значит, Толстой стремился утвердить в собственной жизни нечто ему одному принадлежащее, свои особенные представления о народе?

Суть перемен, которые произошли с писателем в новую жизненную эпоху (это становилось ясно из всего мной прочитанного), следовало искать вовсе не в «переходе на другие классовые позиции», а в той самой духовности, той религии, что влекла меня к себе и одновременно пугала. Толстой требовал от современников и потомков жить «по-божьи», «любовно», так же как живут, по его мнению, лучшие люди из народа, его цвет. Но понятие о божественном он вывел для себя сам, создал ему под стать на старости лет и свой идеальный народный тип.

Цивилизация – все, что не принадлежит миру естественных, природных явлений, – часто представлялась ему и в прежние годы силой, враждебной подлинным началам бытия. Но теперь

Толстой ощутил действительность как настоящий цивилизованный кошмар. Государство с его вооруженными силами, судебной системой, тюрьмами, границами представилось ему безбожным орудием стеснения, осквернения, истязания невинной и прекрасной божественной природы. То же самое промышленность, которая уродует жизнь. Сословные, хозяйственные, правовые нормы, отношения собственности (Холстомер не понимал, почему люди называют себя его хозяевами) – все это были, с точки зрения Толстого, злокозненные или безумные изобретения – лишь бы не состоялся уготованный человеку, животному, растению рай на земле. Культура, которая не учит естественному добру, также казалась ему бессмысленной, даже вредной. Вся военная, политическая история человечества представала в его глазах непрерывной чередой цивилизованного «мучительства». Жуткий обычай наказания шпицрутенами (он пришел к нам из Западной Европы), изображенный в рассказе «После бала», кажется, полностью исчерпывал содержание государственного прошлого России, каким его теперь видел художник.

Многое из того, о чем он говорил, было несомненной правдой. Недуги современности, вырастающие из них угрозы для будущего Толстой угадывал на редкость прозорливо. И в то же время, шаг за шагом утверждая свою веру, он из лучших побуждений словно грозился уничтожить, растоптать всю общественную жизнь в ее драматичной сложности и многообразии. Что же останется человеку, осуществись на деле призывы писателя? Ум терялся в этом изощренном переплетении истины и заблуждения (разумеется, тогда я не мог называть заблуждениями парадоксы позднего Толстого), не было никакой возможности понять, где кончается истина, где начинается заблуждение.

Только одно открывалось мне со всей очевидностью. Толстой часто и охотно говорил в это время о братской любви, о мире. Но сам он, похоже, не знал умиротворения. Как ожесточенно, с каким раздраженным сердцем бичевал он «пороки цивилизации»! Как тяжело и мрачно стремился обратить человечество в свою веру! Искренне желая мира, он вел бесконечную войну. Его московский дом помнил, увы, не много счастья.

Что поделать! Видно, бог, которому он посвятил себя, оказался совсем не таким, каким вообразил его писатель, – служить ему значило снова и снова осуждать, язвить, уничтожать... Вероятно, существовали в мире какие-то высшие законы, иные, чем толстовская вера, чем добрые намерения одного, пусть даже безмерно одаренного человека. Но понять эти законы я не мог, только чувствовал порой (в том числе читая ранние и зрелые произведения Толстого, лучшие страницы поздней его прозы), что мир устроен богаче, сложнее, чем это виделось писателю на склоне лет.

* * *

Направляясь по утрам к новому месту работы от станции метро «Парк культуры», а ближе к вечеру возвращаясь обратно, я всегда проходил мимо действующей церкви (многие храмы тогда были закрыты) Святителя Николая в Хамовниках. Этот очень нарядный, совершенный по своей архитектуре старинный московский храм всегда радовал меня. Даже в самом унылом настроении окинешь его взглядом – и на душе становится светлее.

Однажды, еще студентом, я побывал там на службе. Мы с друзьями решили тогда необычно провести пасхальную ночь. Отмечать Пасху в то время никто не запрещал, но это и не приветствовалось, а члены партии, уличенные в «симпатиях к религиозным обрядам», даже могли ожидать больших неприятностей. Обычным для нас было сидеть дома и смотреть развлекательные программы или собираться веселой компанией, петь песни под гитару, в хорошую погоду болтаться по ночной Москве. Что ни говори, а Пасху помнили и в нашем атеистическом мире. Она никогда не проходила, не могла пройти незамеченной. Чувство праздника разливалось в воздухе... и устремлялось в русло единственно понятных большинству из нас безбожных радостей жизни. Подлинный же праздник совершался вдалеке, для нас незримо.

Вот мы и решили (партийных среди нас не было) отправиться посмотреть, как это бывает. Выбрали именно Никольскую церковь в Хамовниках.

Придя уже где-то после двенадцати, крестного хода мы не застали. Вблизи храма было довольно многолюдно. Несколько дружинников с красными повязками, заменяя собой милицию, наблюдали за порядком. Один из них то ли укоризненно, то ли предостерегающе спросил: «Ребята, вы комсомольцы?» – но проходу в церковь не препятствовал.

Это был второй случай, когда я в сознательной жизни (до этого младенцем меня крестили по настоянию моих бабушек) посетил храм. Богослужение я наблюдал со стороны, никак не участвуя в нем, почти ничего не понимая. Возникло только чувство, что я нахожусь в мире таинственном и бесконечно далеком от всего, что я знал до сей поры. Помню, меня удивило, когда одна из моих сокурсниц зажгла и поставила свечу, а потом по ходу службы несколько раз крестилась. Сам я не мог не ощутить стройности богослужения, красоты праздничных песнопений, радости и торжества молящихся, в основном немолодых людей, а главное, какой-то незнакомой гармонии, в которую сливались убранство храма, священники и прихожане, звуки, краски, запахи, свет. Эстетические впечатления наполнялись тут еще какой-то неведомой объединяющей силой, искусство переставало быть только искусством. Но, случайный наблюдатель, я скоро устал просто так стоять в храме. Устали и мои друзья. Часа через полтора мы ушли. Ни в этой, ни в другой церкви я не был с того случая много лет. За время работы в музее любовался храмом Николы в Хамовниках со стороны, но даже мысли не возникало войти в него.

Очевидно, в годы московской жизни Толстой нередко проезжал или проходил мимо Никольского храма. Церковь эту много раньше он упомянул на страницах «Войны и мира» в рассказе о том, как французы, покидая Москву, гнали с Девичьего поля на Калужскую дорогу русских пленных, и среди них Пьера Безухова. Из дома в Хамовниках писатель иногда ездил за водой на Москву-реку (водопровода в доме не было). Почему-то мне представляется такая картина: рано утром с большой бочкой, поставленной на сани, в мужицком полушубке, словно простой работник из барского дома, вниз по Долгохамовническому переулку (так называлась тогда нынешняя улица его имени) едет Толстой, минует храм по левую сторону от дороги. Должно быть, в это время суток там шла литургия. Смотрел ли Толстой на храм или проезжал так, будто рядом пустое место? Если смотрел, то что он испытывал? Или он избирал для своих поездок все-таки другой, окольный маршрут, только бы не видеть храма? Но где в Москве не увидишь храма?

Отвергая в главном и в мелочах все существующее мировое устройство, писатель был как-то особенно беспощаден, когда заходила речь о Церкви. «Переворот» в мировоззрении Толстого, собственно, и начался с того, что художник отрекся от православной веры, в которой он был крещен. И дальше его религиозное учение складывалось в постоянной борьбе с Православием. Читая некоторые из поздних высказываний Толстого «по церковному вопросу», даже мне, человеку неверующему, становилось тяжело и грустно.

Себя он считал истинным христианином, который вернул вековому исповеданию веры его подлинное значение и смысл. При этом Толстой привычно для себя исходил из понятия о безличном божестве, которое проникает собой весь эмоционально отзывчивый мир. Стремясь доказать свою правоту, он заново (с точки зрения Церкви, для мирского человека дело немыслимое, греховное) перевел с греческого языка (который знал не совсем твердо) четыре апостольских Евангелия: от Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Перевод сопровождался обширными комментариями Толстого. В итоге получилось «толстовское евангелие»: укорененное в почве, провозгласившее божественными законы живой природы. Нечего и говорить, что тем самым Толстой отрицал всю святоотеческую церковную традицию, все, во что верили и веруют поколения православных христиан. Он называл Иисуса Христа земным человеком и мудрецом, который лучше других понял бога. Он запросто «отменял» понятия о Святой Живоначальной

Троице, о грехе и его искуплении. Само православное богослужение показалось ему бессмысленным: чтобы молиться «естественному богу», Церковь не нужна.

В Евангелии Толстой особенно выделял заповедь о долге христианина любить своих врагов и учил ненасильственно противиться злу. Но где находилась граница между добром и злом в его новом религиозном учении? Кто мог ее определить? Только сам Толстой с его представлениями о мире. Естественное добро и цивилизованное зло – здесь было так много личного! Церковь с ее без малого двухтысячелетним опытом утверждения истины, различения добра и зла, неустанной борьбы с темными мировыми стихиями стояла на пути этих своевольных воззрений. Тем более она казалась Толстому последним воплощением «зла цивилизации». И он «ненасильственно» – только силой данного ему таланта – решил бороться с ней, объявил ей войну.

В то время, когда только начиналась моя работа в музее Толстого, для меня почти невозможно было представить себе весь масштаб духовной трагедии, пережитой писателем на склоне лет. А между тем, утверждая свою «нецерковную» народность, явно намереваясь «вырвать» Христа Спасителя из души русского народа, вложить в нее плоское представление о человеке Христе – своем предшественнике, Толстой восставал против самых глубоких основ, создавших и укрепивших Россию, против того источника света, который один способен нести в мир тишину и благоденствие. Он до такой степени посвятил себя «религии безгрешного человечества», сроднился с «чувствительной» материей, что, кажется, утратил всякую возможность различать вечно пребывающие в земном подлинно духовные, таинственные, неземные начала. Смирение, покаяние перед Богом в их православном значении оказались для него непостижимы. Он грозился пошатнуть непонятную, чуждую его мирским воззрениям Вселенскую Церковь, вековую хранительницу спасительных истин, и тем самым заранее обрекал себя на поражение: вечную душевную борьбу, смятение, разлад со всеми и с самим собой.

Когда Толстой говорил о Церкви языком художественной прозы, он, разумеется, избегал (насколько ему это удавалось) публицистической прямоты и откровенности. В романе «Воскресение» он даже показал вполне «нейтрально», если не сказать сочувственно (это один из наиболее ярких эпизодов произведения), ночное пасхальное богослужение. Но в том же романе появились невиданные в русской литературе главы, где писатель самым издевательским образом описывал Божественную литургию, совершаемую в тюремной церкви.

Это было вопиющее свидетельство художника о своей религиозной исключительности. Обычно же в повестях и рассказах той поры Толстой просто упоминал о Церкви как о чем-то несущественном, постороннем, далеком от божественного (так ему представлялось) естественного порядка вещей. Он хорошо знал, что подавляющее большинство русских людей из народа – православные христиане, для которых таинства Церкви есть сама жизнь, но не смущался этим обстоятельством. Даже если его любимые герои посещали храм, произносили православные молитвы, то, скорее, лишь по навязанной сверху «цивилизованной» привычке, а все подлинное, «священное» в их жизни совершалось помимо храма.

Зато персонажи «помраченные» нередко выступали у Толстого в полном внутреннем единстве с Церковью. Вот Василий Андреич Брехунов из «Хозяина и работника»: он и забывший Бога стяжатель, он и церковный староста, запросто наедине с собой одалживающий приходские деньги для собственных приобретений. И дело не в том, что такие, мягко говоря, плутоватые старосты, очевидно, встречались и, увы, встречаются в России, а в том, что Василий Андреич выглядел тут вполне показательным «человеком Церкви».

На страницах романов и повестей Толстого в качестве эпизодических действующих лиц довольно часто появлялись православные священники. До начала 1880-х годов он говорил о них уважительно, в духе народной традиции, а в «послепереломную» пору – нередко насмешливо, с плохо скрываемым раздражением. Но всегда это был (в отличие, скажем, от посвященных духовному сословию произведений Н. С. Лескова) взгляд «извне», без «погружения» во

внутренний мир персонажей, без желания понять обстоятельства их жизни. Созданная писателем на склоне лет повесть «Отец Сергей» представляла собой единственную в его творчестве попытку показать мир православного духовенства «изнутри».

Едва ли эта попытка с самого начала предполагала сколько-нибудь объективное художественное исследование. Скорее всего, в жизнеописании главного героя повести, Степана Касатского (в монашестве отца Сергия), Толстому были заранее ясны его итоги, во всяком случае итоги отрицательные. Так и получилось. Обидевшись на весь свет, в прошлом гвардейский офицер Касатский ушел в монастырь. Но, проведя много лет в затворе, прославившись на всю Россию как чудотворец, исцеляющий недуги, он тем не менее не смог смириться и пал, не выдержав борьбы с грехом. По Толстому выходило, что Церковь в деле спасения не помощница, что она служит не Богу, а людям.

Что же касается итогов положительных, то Касатский обрел новый смысл жизни после встречи с подругой детства, Пашенькой (ему приснилось, что он должен бросить келью и обязательно найти постаревшую к тому времени Пашеньку). Кроткая, безропотная во всех невзгодах Прасковья Михайловна явилась ему как подлинный идеал служения Богу. Вот так же Толстой в одно из своих посещений Оптиной пустыни, прославленного в XIX веке подвигами иноков-старцев русского монастыря, раздраженно начал доказывать старцу Амвросию, что истину знают не он – Амвросий, и даже не он – Толстой, а рабочие-строители, которые трудятся за окном. После встречи с Пашенькой Касатский пошел странствовать по России, попал в острог, был сослан в Сибирь, где осел на заимке у богатого мужика, занимаясь огородом, лечением больных да обучением хозяйских детей.

Повесть «Отец Сергей» была популярна среди интеллигенции в годы моей молодости. Этому способствовал и незадолго до того увидевший свет одноименный кинофильм с Сергеем Бондарчуком в главной роли. Произведение Толстого казалось тогда одним из немногих «окошек» в непонятный и все-таки интересный советскому человеку мир Православия. Тем не менее открывалось из этого «окошка», конечно, совсем не Православие. Безусловно, писатель старался на страницах повести точно передавать внешние приметы церковной жизни, но при этом не хотел и, вероятно, не мог переменить своего взгляда на Русскую Церковь. Суть и смысл монашеского подвига – смирение, неустанное противостояние греху для стяжания духа святого, стяжания благодати – казались Толстому чем-то пустым, посторонним по отношению к тем ценностям, которые сам он почитал истинными.

Посвященная эпохе расцвета монастырей в России, времени святых Игнатия (Брянчанинова), Феофана Затворника, Филарета (Дроздова), времени великих оптинских старцев повесть Толстого и в малой степени не смогла передать дух русской святости. Как раз наоборот: Толстой «вложил» в созданную им достоверную по внешним приметам картину монашеской жизни почти исключительно собственные представления о ней. Получалось, что герой повести Касатский по-настоящему приблизился к праведной жизни не тогда, когда жил в затворе и совершал чудесные исцеления, а только покончив с монашеством, уйдя в мир с его простой, «естественной» святыею. Если даже в его иноческой жизни и случались яркие моменты просветления, то происходили они как бы независимо от Церкви. «Психологический ключ» – тончайшее знание эмоционально-психической жизни человека, «отпиривший» для Толстого любые области земного бытия, оказался в этом строго духовном случае неподходящим.

До моего прихода в музей я очень мало знал о событиях, связанных с отлучением Толстого от Церкви в начале 1901 года. Теперь же с удивлением обнаружил, что отлучения по церковному чину вовсе не было. Толстому не пели, как некогда Григорию Отрепьеву или гетману Мазепе, анафему в церквях. Можно предположить, что кто-нибудь из батюшек на местах проявил излишнее усердие и анафему таки пропел, но если это и происходило, то исключительно «в частном порядке». Святейший синод выпустил Определение об отпадении Льва Толстого от Церкви. В нем были перечислены причины, по которым Церковь не считала больше

Толстого своим членом (формально до этого времени писатель числился православным). Тут получил признание давно состоявшийся факт, и сам Толстой ничего не мог возразить по существу вопроса: он только оспаривал с точки зрения своей веры формулировку Определения. Возможности покаяния и возвращения в лоно Церкви Толстого никто не лишал.

Известие о своем «отлучении» писатель получил в хамовническом доме, и сюда же поступали к нему многочисленные отклики на Определение Синода: реже увещательные – от верующих, в большом количестве сочувственные, осуждающие Церковь – от тех, кто называл себя прогрессивной общественностью. Сам я все-таки очень приблизительно представлял себе религиозные воззрения Толстого, тем более ничего не знал о Православии. Понять глубинное существо конфликта для меня не было никакой возможности: он еще не затронул по-настоящему моего сердца. И потому на экскурсиях, стоя у дверей кабинета писателя, видя перед собой стеснившихся в рабочей комнатке, а то и оставшихся в коридоре, за ее порогом, посетителей музея, я просто сообщал факты, старался передать волнения и тревоги в семье Толстых, вызванные «отлучением». Но все же невольно склонялся на сторону писателя, представлял его стороной страдающей, несправедливо обиженной. Гений Толстого, что ни говори, был для меня в ту пору некой последней ценностью, выше которой не найти. В этих стенах побывали чуть ли не все знаменитые люди своего времени: писатели, художники, композиторы, музыканты, актеры! Вот что я понимал. А Церковь значила для меня так мало...

После одной экскурсии как-то подошли ко мне два молодых человека, примерно моих ровесника. Эти свежие бородатые люди, оба в костюмах, постоянно обращали мое внимание и во время нашего шествия по дому. «Священники», – подумал я. Так и оказалось. Оба они были молодые батюшки, только что закончили семинарию. Кажется, они похвалили мою экскурсию. Мы разговорились. Они что-то спрашивали о Толстом, я охотно рассказывал все, что знал. Только под конец нашей беседы один из них почти смущенно заметил: «А все-таки нам показалось немножко наивным то, что вы говорили о Церкви...»

Что я мог ответить? В глубине души я прекрасно чувствовал их правоту. Иногда у меня возникала целая череда вопросов. Толстой сам, по своей воле, отрекся от Церкви. Мало того: он делал все, чтобы ее разрушить. И вот через двадцать лет, после нескольких обращений к писателю священников различного ранга, Церковь признала этот факт состоявшимся, несомненным. Против чего же так негодовали сторонники прогресса? Если сам писатель не хочет принадлежать к Церкви, то Определение Синода только упрощает дело. Может, они считали, что Толстой православен, а Церковь не православна? Но ведь это очевидная нелепость! Значит, они вслед за Толстым тоже отпали от Церкви? Вместо согласия им нужна была вражда, революция? А разве я вольно или невольно не повторяю вслед за ними почти то же самое, что говорилось в начале тревожного XX века? Или мы все дети единой, не сегодня начавшейся эпохи и Толстой, называющий себя христианином, все-таки один из ее духовных отцов и выразителей? Не было конца таким вопросам.

* * *

С той весны, когда я водил экскурсии по дому в Хамовниках, прошло больше десяти лет. Я давно уже не работал в музее, но творчеством Толстого, изучением его жизни продолжал заниматься профессионально. Поэтический мир писателя, особенно раннего и зрелого периодов, начинал все больше открываться мне в его ослепительном богатстве и сложных, почти неразрешимых парадоксах. Теперь я часто видел в Толстом едва ли не самого исторического человека двух последних столетий – так полно отразилось в его судьбе движение русского мира со всеми взлетами и крушениями.

Кончилось время, которое теперь называют застойным. Началась новая смута на Русской земле. Еще не до конца понимая, что происходит, мы утратили наше Отечество в его вековых

пределах, заметались, потеряли голову. Что до меня, то я испытывал чувство огромной, со всех сторон наползающей душевной тяжести, почти физически ощутимой нравственной тошноты.

Однажды я поехал осенью в Ясную Поляну. Покончив с делами, посетил одинокую могилу Толстого в лесу на краю оврага, а затем отправился пешком в расположенное неподалеку село Кочаки, где на православном кладбище похоронены родные писателя. В Ясной Поляне мне приходилось бывать не раз, но все оказывалось недосуг посмотреть это место.

Дорога заняла чуть меньше часа. По пути я пытался объяснить себе то странное чувство, которое вызывает у меня могила Толстого. Все так скромно, так безыскусно, такая богатая природа вокруг. Но отчего-то словно кружится голова. То ли это от уходящего вниз оврага, то ли от странной игры света, проникающего сюда сквозь кроны деревьев?

Но вот я очутился в небольшом поселке. В конце короткой улочки стояла церковь, купол которой я видел еще издали. Подобно храму в Хамовниках, она тоже посвящена Николаю Чудотворцу. Подойдя к церкви поближе, я увидел рядом с ее воротами главный вход на кладбище, а справа, за алтарной частью храма, низенький, почти символический забор с такой же невысокой калиткой. Почему-то я выбрал именно калитку – и сразу попал на ту часть сельского кладбища, где похоронены Толстые.

Кладбище было в тот момент совершенно безлюдным. Я остановился у выкрашенного белой краской каменного склепа. Прочел, что тут лежат отец и мать Толстого, его рано умерший брат, Дмитрий. Рядом увидел надгробие его деда, князя Волконского. Дальше, проходя между могилами, я встречал почти все знакомые имена: дети писателя, которые умерли при его жизни (некоторые во младенчестве), его тетушки, другой его брат – Сергей, его потомки – наши старшие современники. Софья Андреевна. Все они вместе, за алтарем конаковского храма.

Какая уж радость на кладбище! Только ставшая привычной для меня тоска вдруг исчезла. Мне вспомнились слова молодого Толстого, оставленные в его записной книжке в ту пору, когда духовный выбор писателя еще не определился: «Сельская церковь, обсаженная плакучими березками. Сколько в ней разных душ обвенчано, крещено, похоронено». Возможно, сказано совсем не об этом храме, и в то же время – о нем. Самого Толстого крестили здесь, в Кочаках.

Впервые за долгое время я почувствовал красоту осени, осеннего света. Но свет сентября наполнялся в те мгновения как будто еще иным, незримым светом. И этот новый свет согревал сердце, приносил душе забытый мир. Прошлое, будущее Родины сливались в его лучах, соединяли меня со всеми, кто жил до меня, кто придет после...

И не осталось места безнадежности. Я обогнул церковь и подошел к ее воротам. Однако по какой-то причине она была закрыта. В Москву я поехал с намерением потрудиться и все-таки войти в храм.

Александр Гулин

Повести и рассказы



Холстомер *История лошади*

Посвящается памяти М. А. Стаховича!



Глава I

Все выше и выше поднималось небо, шире расплывалась заря, белее становилось матовое серебро росы, безжизненнее становился серп месяца, звучнее – лес, люди начинали подниматься, и на барском конном дворе чаще и чаще слышалось фыркание, возня по соломе и даже сердитое визгливое ржание столпившихся и повздоривших за что-то лошадей.

– Но-о! Успеешь! Проголодались! – сказал старый табунщик, отворяя скрипящие ворота. – Куда? – крикнул он, замахиваясь на кобылку, которая сунулась было в ворота.

Табунщик Нестер был одет в казакин*, подпоясанный ремнем с набором*, кнут у него был захлестнут через плечо, и хлеб в полотенце был за поясом. В руках он нес седло и уздечку.

Лошади нисколько не испугались и не оскорбились насмешливым тоном табунщика, они сделали вид, что им все равно, и неторопливо отошли от ворот, только одна старая каракочья* гривастая кобыла приложила ухо и быстро повернулась задом. При этом случае молодая кобылка, стоявшая сзади и до которой это вовсе не касалось, взвизгнула и поддала задом первой попавшейся лошади.

– Но-о! – еще громче и грознее закричал табунщик и направился в угол двора.

¹ Сюжет этот был задуман М. А. Стаховичем, автором «Ночного» и «Наездников», и передан автору А. А. Стаховичем. (Примеч. Л. Н. Толстого.)

Из всех лошадей, находившихся на варке* (их было около сотни), меньше всех нетерпения показывал пегий* мерин*, стоявший одиноко в углу под навесом и, прищутив глаза, лизавший дубовую соху* сарая. Неизвестно, какой вкус находил в этом пегий мерин, но выражение его было серьезно и задумчиво, когда он это делал.

– Балуи! – опять тем же тоном обратился к нему табунщик, подходя к нему и кладя на навоз подле него седло и залоснившийся потник*.

Пегий мерин перестал лизать и, не шевелясь, долго смотрел на Нестера. Он не засмеялся, не рассердился, не нахмурился, а понес только всем животом и тяжело, тяжело вздохнул и отвернулся. Табунщик обнял его шею и надел уздечку.

– Что вздыхаешь? – сказал Нестер.

Мерин взмахнул хвостом, как будто говоря: «Так, ничего, Нестер». Нестер положил на него потник и седло, причем мерин приложил уши, выражая, должно быть, свое неудовольствие, но его только выбрали за это дрянью и стали стягивать подпруги. При этом мерин надулся, но ему всунули палец в рот и ударили коленом в живот, так что он должен был выпустить дух. Несмотря на то, когда зубом подтягивали трок*, он еще раз приложил уши и даже оглянулся. Хотя он знал, что это не поможет, он все-таки считал нужным выразить, что ему это неприятно и всегда будет показывать это. Когда он был оседлан, он отставил оплывшую правую ногу и стал жевать удила, тоже по каким-то особенным соображениям, потому что пора ему было знать, что в удилах не может быть никакого вкуса.

Нестер по короткому стремени влез на мерина, размотал кнут, выпростал из-под колена казакин, уселся на седле особенной, кучерской, охотничьей, табунщицкой, посадкой и дернул за поводья. Мерин поднял голову, изъявляя готовность идти, куда прикажут, но не тронулся с места. Он знал, что, прежде чем ехать, многое еще будут кричать, сидя на нем, приказывать другому табунщику Ваське и лошадям. Действительно, Нестер стал кричать: «Васька! а Васька! Маток выпустил, что ль? Куда ты, лешой! Но! Аль спишь? Отворяй, пушай наперед матки пройдут!» – и т. д.

Ворота заскрипели, Васька, сердитый и заспанный, держа лошадь в поводу, стоял у вереи* и пропускал лошадей. Лошади одна за одной, осторожно ступая по соломе и обнюхивая ее, стали проходить: молодые кобылки, стригуны*, сосунчики* и тяжелые матки, осторожно, по одной, в воротах пронося свои утробы. Молодые кобылки теснились иногда по двое, по трое, кладя друг другу головы через спины, и торопились ногами в воротах, за что всякий раз получали бранные слова от табунщиков. Сосунчики бросались к ногам иногда чужих маток и звонко ржали, отзываясь на короткое гоготанье маток.

Молодая кобылка-шалуныя, как только выбралась за ворота, загнула вниз и набок голову, взнесла задом и взвизгнула; но все-таки не посмела забежать вперед серой старой, осыпанной гречкой Жулдыбы, которая тихим, тяжелым шагом, с боку на бок переваливая брюхо, степенно шла, как всегда, впереди всех лошадей.

За несколько минут столь оживленный полный варок печально опустел; грустно торчали столбы под пустыми навесами, и виднелась одна измятая, унавоженная солома. Как ни привычна была эта картина опустения пегому мерину, она, должно быть, грустно подействовала на него. Он медленно, как бы кланяясь, опустил и поднял голову, вздохнул, насколько ему позволял стянутый трок, и, ковыляя своими погнутыми нерасходившимися ногами, побрел за табуном, унося на своей костлявой спине старого Нестера.

«Знаю: теперь, как выедем на дорогу, он станет высекать огонь и закурит свою деревянную трубочку в медной оправе и с цепочкой, – думал мерин. – Я рад этому, потому что рано поутру, с росой, мне приятен этот запах и напоминает много приятного; досадно только, что с трубочкой в зубах старик всегда раскуражится, что-то вообразит о себе и сядет боком, непременно боком; а мне больно с этой стороны. Впрочем, бог с ним, мне не в новости страдать для удовольствия других. Я даже стал уже находить какое-то лошадиное удовольствие в этом. Пус-

кай его хорохорится, бедняк. Ведь только и храбриться ему одному, пока его никто не видит, пускай сидит боком», – рассуждал мерин и, осторожно ступая покоробленными ногами, шел посередине дороги.

Глава II

Пригнав табун к реке, около которой должны были пастись лошади, Нестер слез и расседлал. Табун между тем уже медленно стал разбираться по не сбитому еще лугу, покрытому росой и паром, поднимавшимся одинаково от луга и от реки, огибавшей его.

Сняв уздечку с пегого мерина, Нестер почесал его под шеей, в ответ на что мерин, в знак благодарности и удовольствия, закрыл глаза. «Любит, старый пес!» – проговорил Нестер. Мерин же нисколько не любил этого чесанья и только из деликатности притворялся, что оно ему приятно, он помотал головой в знак согласия. Но вдруг, совершенно неожиданно и без всякой причины, Нестер, предполагая, может быть, что слишком большая фамильярность может дать ложные о своем значении мысли пегому мерину, Нестер без всякого приготовления оттолкнул от себя голову мерина и, замахнувшись уздой, очень больно ударил пряжкой узды мерина по сухой ноге и, ничего не говоря, пошел на бугорок к пню, около которого он сиживал обыкновенно.

Поступок этот хотя и огорчил пегого мерина, он не показал никакого вида и, медленно помахивая вылезшим хвостом и принохиваясь к чему-то и только для рассеянья пощипывая траву, пошел к реке. Не обращая никакого вниманья на то, что выделявали вокруг него обрадованные утром молодые кобылки, стригунки и сосунчики, и зная, что здоровее всего, особенно в его летá, прежде напиться хорошенько натошак, а потом уже есть, он выбрал где поотложнее и просторнее берег и, моча копыты и щетку* ног, всунул храп* в воду и стал сосать воду сквозь свои прорванные губы, поводить наполнявшимися боками и от удовольствия помахивать своим жидким пегим хвостом с оголенной репицею*.

Бурая кобылка, забияка, всегда дразнившая старика и делавшая ему всякие неприятности, и тут по воде подошла к нему, как будто по своей надобности, но только с тем, чтобы намутить ему воду перед носом. Но пегий уж напился и, как будто не замечая умысла бурой кобылки, спокойно вытащил одну за другой свои увязшие ноги, отряхнул голову и, отойдя в сторонку от молодежи, принялся есть. На различные манеры отставляя ноги и не топчя лишней травы, он, почти не разгибаясь, ел ровно три часа. Наевшись так, что брюхо у него повисло, как мешок на худых крутых ребрах, он установился ровно на всех четырех больных ногах так, чтобы было как можно менее больно, особенно правой передней ноге, которая была слабее всех, и заснул.

Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкая и величественная вместе. Старость пегого мерина была именно такого рода.



Мерин был роста большого – не менее двух аршин трех вершков*. Мастью он было вороно-пегий. Таким он был, но теперь вороные пятна стали грязно-бурого цвета. Пежина его составлялась из трех пятен: одно на голове с кривой, сбоку носа, лысиной и до половины шеи. Длинная и засоренная репьями грива была где белая, где буроватая. Другое пятно шло вдоль правого бока и до половины живота; третье пятно на крупе, захватывая верхнюю часть хвоста и до половины ляжек. Остаток хвоста был белесоватый, пестрый. Большая костлявая голова с глубокими впадинами над глазами и отвисшей, разорванной когда-то черной губой тяжело и низко висела на выгнутой от худобы, как будто деревянной шее. Из-за отвисшей губы виден был прикушенный на сторону черноватый язык и желтые остатки съеденных нижних зубов. Уши, из которых одно было разрезано, опускались низко по бокам и изредка только лениво поводились, чтобы спугивать липших мух. Один клочок еще длинный от челки висел сзади за ухом, открытый лоб был углублен и шершав, на просторных салазках* мешками висела кожа. На шее и голове жилы связались узлами, вздрагивавшими и дрожавшими при каждом прикосновении мухи. Выражение лица было строго-терпеливое, глубокомысленное и страдальческое. Передние ноги его были дугой согнуты в коленях, на обоих копытах были наплывы, и на одной, на которой пежина доходила до половины ноги, около колена была в кулак большая шишка. Задние ноги были свежее, но стерты на ляжках, видимо давно, и шерсть уже не зарастала на этих местах. Все ноги казались несоразмерно длинны по худобе стана. Ребра, хотя и крутые, были так открыты и обтянуты, что шкура, казалось, присохла к лощинкам между ними. Холка* и спина были испещрены старыми побоями, и сзади была еще свежая опухшая и гноящаяся болячка; черная репица хвоста с обозначившимися на ней позвонками торчала длинная и почти голая. На буром крупе, около хвоста, была заросшая белыми волосами в ладонь рана вроде укуса, другая рана-рубец видна была в передней лопатке. Задние коленки и хвост были нечисты от постоянного расстройства желудка. Шерсть по всему телу, хотя и короткая, стояла торчком. Но, несмотря на отвратительную старость этой лошади, невольно задумывался, взглянув на нее, а знаток сразу бы сказал, что это была в свое время замечательно хорошая лошадь.

Знаток сказал бы даже, что была только одна порода в России, которая могла дать такую широкую кость, такие громадные мослаки*, такие копыты, такую тонкость кости ноги, такой постанов шеи, главное, такую кость головы, глаз – большой, черный и светлый, и такие породистые комки жил около головы и шеи, тонкую шкуру и волос. Действительно, было что-то величественное в фигуре этой лошади и в страшном соединении в ней отталкивающих признаков дряхлости, усиленной пестротой шерсти, и приемов и выражения самоуверенности и спокойствия сознательной красоты и силы.

Как живая развалина, он стоял одиноко посереде росистого луга, а недалеко от него слышались топот, фырганье, молодое ржанье, взвизгиванье рассыпавшегося табуна.

Глава III

Солнце уже выбралось выше леса и ярко блестело на траве и извилах реки. Роса обсыхала и собиралась каплями, кое-где, около болотца и над лесом, как дымок, расходился последний утренний пар. Тучки кудрявились, но ветру еще не было. За рекой щетинкой стояла зеленая, свертывавшаяся в трубку рожь, и пахло свежей зеленью и цветом. Кукушка куковала с прихрипываньем из леса, и Нестер, развалившись на спину, считал, сколько лет ему еще жить. Жаворонки поднимались над рожью и лугом. Запоздалый заяц попался между табуна и, выскочив на простор, сел у куста и прислушивался. Васька задремал, уткнув голову в траву, кобылки еще просторнее, обойдя его, рассыпались понизу. Старые, пофыркивая, прокладывали по росе светлый следок и все выбирали такое место, где бы никто не мешал им, но уж

не ели, а только закусывали вкусными травками. Весь табун незаметно подвигался в одном направлении. И опять старая Жулдыба, степенно выступая впереди других, показывала возможность идти дальше. Молодая, в первый раз ожеребившаяся, вороная Мушка беспрестанно гоготала и, подняв хвост, фыркала на своего лиловенького сосунчика, который, дрожа коленами, ковылял около ней. Каракочья холостая Ласточка, как атласная, гладкая и блестящая шерстью, опустив голову так, что черная шелковистая челка закрывала ей лоб и глаза, играла с травой – щипнет и бросит и стукнет мокрой от росы ногой с пушистой щеткой. Один из старших сосунчиков, должно быть воображая себе какую-нибудь игру, уже двадцать шесть раз подняв панашем* коротенький кудрявый хвостик, обскакал кругом своей матки, которая спокойно щипала траву, успев уже привыкнуть к характеру своего сына, и только изредка косилась на него большим черным глазом. Один из самых маленьких сосунов, черный, головастый, с удивленно торчащей между ушами челкой и хвостиком, свернутым еще на ту сторону, на которую он был загнут в брюхе матери, уставив уши и тупые глаза, не двигаясь с места, пристально смотрел на сосуна, который скакал и пятился, неизвестно, завидуя или осуждая, зачем он это делает. Которые сосут, подталкивая носом, которые, неизвестно почему, несмотря на зовы матерей, бегут маленькой, неловкой рысцой прямо в противоположную сторону, как будто отыскивая что-то, и потом, неизвестно для чего, останавливаются и ржут отчаянно-пронзительным голосом; которые лежат боком вповалку, которые учатся есть траву, которые чешутся задней ногой за ухом. Две еще жеребые кобылы ходят отдельно и, медленно передвигая ноги, все еще едят. Видно, что их положение уважаемо другими, и никто из молодежи не решается подходить и мешать. Ежели и вздумает какая-нибудь шалунья подойти близко к ним, то одного движенья уха и хвоста достаточно, чтобы показать им всю неприличность их поведенья.

Стригунки, годовалые кобылки, притворяются уж большими и степенными и редко подпрыгивают и сходятся с веселыми компаниями. Они чинно едят траву, выгибая свои лебединые стриженные шейки, и, как будто у них тоже есть хвосты, помахивают своими веничками. Так же, как большие, некоторые ложатся, катаются или чешут друг друга. Самая веселая компания составляется из двухлеток-трехлеток и холостых кобыл. Они ходят почти все вместе и отдельно веселой девичьей гурьбой. Между ними слышится топот, взвизгиванье, ржанье, брыканье. Они сходятся, кладут головы друг другу через плечи, обнюхиваются, прыгают и иногда, всхрапнув и подняв трубой хвост, полурысью-полутропотою* гордо и кокетливо пробегают перед товарками. Первой красавицей и затейщицей между всей этой молодежью была шалунья бурая кобылка. Что она затевала, то делали и другие; куда она шла, туда за ней шла и вся гурьба красавиц. Шалунья была в особенно игривом расположении в это утро. Веселый стих нашел на нее так, как он находит и на людей. Еще на водопое, подшутив над стариком, она побежала вдоль по воде, притворилась, что испугалась чего-то, храпнула и во все ноги понеслась в поле, так что Васька должен был скакать за ней и за другими, увязавшимися за ней. Потом, поев немного, она начала валяться, потом дразнить старух тем, что заходила вперед их, потом отбила одного сосунка и начала бегать за ним, как будто желая укусить его. Мать испугалась и бросила есть, сосунчик кричал жалким голосом, но шалунья ничем даже не тронула его, а только поугала его и доставила зрелище товаркам, которые с сочувствием смотрели на ее проделки. Потом она затеяла вскружить голову чалой* лошадке, на которой далеко за рекой по ржам проезжал мужичок с сохой. Она остановилась, гордо, несколько набок, подняла голову, встряхнулась и заржала сладким, нежным и протяжным голосом. И шалость, и чувство, и некоторая грусть выражались в этом ржанье. В нем было и желанье, и обещанье любви, и грусть по ней.

Вон дергач, в густом тростнике, перебегая с места на место, страстно зовет к себе свою подругу, вон и кукушка и перепел поют любовь, и цветы по ветру пересылают свою душистую пыль друг другу.

«И я и молода, и хороша, и сильна, – говорило ржанье шалуньи, – а мне не дано было до сей поры испытать сладость этого чувства, не только не дано испытать, но ни один любовник, ни один еще не видал меня».

И многозначашее ржанье грустно и молодо отозвалось низом и полем и издалека донеслось до чалой лошадки. Она подняла уши и остановилась. Мужик ударил ее лаптем, но чалая лошадка была очарована серебряным звуком далекого ржанья и заржала тоже. Мужик рассердился, дернул ее вожжами и ударил так лаптем по брюху, что она не успела докончить своего ржанья и пошла дальше. Но чалой лошадке стало сладко и грустно, и из далеких ржей долго еще долетали до табуна звуки начатого страстного ржанья и сердитого голоса мужика.

Ежели от одного звука этого голоса чалая лошадка могла ошалеть так, что забыла свою должность, что бы было с ней, ежели бы она видела всю красавицу шалунью, как она, насторожив уши, растопырив ноздри, втягивая в себя воздух и куда-то порываясь и дрожа всем своим молодым и красивым телом, звала ее.

Но шалунья долго не задумывалась над своими впечатленьями. Когда голос чалого замолк, она насмешливо поржала еще и, опустив голову, стала копать ногой землю, а потом пошла будить и дразнить пегого мерина. Пегий мерин был всегдашним мучеником и шутком этой счастливой молодежи. Он страдал от этой молодежи больше, чем от людей. Ни тем, ни другим он не делал зла. Людям он был нужен, но за что же мучали его молодые лошади?

Глава IV

Он был стар, они были молоды; он был худ, они были сыты; он был скучен, они были веселы. Стало быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его. Лошади жалеют только самих себя и изредка только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить. Но ведь не виноват же был пегий мерин в том, что он был стар, и тощ, и уродлив?.. Казалось бы, что нет. Но по-лошадиному он был виноват, и правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы, те, у которых было все впереди, те, у которых от ненужного напряжения дрожал каждый мускул и колом поднимался хвост кверху. Может быть, что и сам пегий мерин понимал это и в спокойные минуты соглашался, что он виноват тем, что прожил уже жизнь, что ему надо платить за эту жизнь; но он все-таки был лошадь и не мог удерживаться часто от чувств оскорбления, грусти и негодования, глядя на всю эту молодежь, казнившую его за то самое, чему все они будут подлежать в конце жизни. Причиной безжалостности лошадей было тоже и аристократическое чувство. Каждая из них вела свою родословную по отцу или по матери от знаменитого Сметанки, пегий же был неизвестно какого рода; пегий был пришлец, купленный три года тому назад за восемьдесят рублей ассигнациями на ярманке.

Бурая кобылка, как будто прогуливаясь, подошла к самому носу пегого мерина и толкнула его. Он уж знал, что это такое, и, не открывая глаз, приложил уши и оскалился. Кобылка повернулась задом и сделала вид, что хочет ударить его. Он открыл глаза и отошел в другую сторону. Спать ему уже не хотелось, и он начал есть. Снова шалунья, сопутствуемая своими подругами, подошла к мерину. Двухлетняя лысая кобылка, очень глупая, всегда подражавшая и во всем следовавшая за бурой, подошла с ней вместе и, как всегда поступают подражатели, начала пересаливать то самое, что делала зачинщица. Бурая кобылка обыкновенно подходила как будто по своему делу и проходила мимо самого носа мерина, не глядя на него, так что он решительно не знал, сердиться или нет, и это было действительно смешно. Она сделала это и теперь, но лысая, шедшая за ней и особенно развеселившаяся, уже прямо грудью ударила мерина. Он снова оскалил зубы, взвизгнул и с прытью, которую нельзя бы было ожидать от него, бросился за ней и укусил ее в ляжку. Лысенькая ударила всем задом и тяжело ударила старика по худым голым ребрам. Старик захрипел даже, хотел броситься еще, но потом разду-

мал и, тяжело вздохнув, отошел в сторону. Должно быть, вся молодежь табуна приняла за личное оскорбление дерзость, которую позволил себе пегий мерин в отношении лысой кобылки, и весь остальной день ему решительно не давали кормиться и ни на минуту не давали покоя, так что табунщик несколько раз унимал их и не мог понять, что с ними сделалось. Мерин так был обижен, что сам подошел к Нестеру, когда старик собрался гнать назад табун, и почувствовал себя счастливее и покойнее, когда его оседлали и сели на него.

Бог знает о чем думал старик мерин, унося на своей спине старика Нестера. С горечью ли думал он о неотвязчивой и жестокой молодежи или, с свойственной старикам презрительной и молчаливой гордостью, прощал своих обидчиков, только он ничем не проявил своих размышлений до самого дома.

В этот вечер к Нестеру приехали кумовья, и, прогоняя табун мимо дворовых изб, он заметил телегу с лошадей, привязанную к его крыльцу. Загнав табун, он так поторопился, что, не сняв седла, пустил на двор мерина и, крикнув Ваське, чтоб он расседлал табунного, запер ворота и пошел к кумовьям. Вследствие ли оскорбления, нанесенного лысой кобылке, Сметанкиной правнучке, «коростовой дрянью», купленной на конной и не знающей отца и матери, и оскорбленного поэтому аристократического чувства всего варка или вследствие того, что мерин в высоком седле без седока представлял странно фантастическое для лошадей зрелище, только на варке произошло в эту ночь что-то необыкновенное. Все лошади, молодые и старые, с оскаленными зубами бегали за меринком, гоняя его по двору, раздавались звуки копыт об его худые бока и тяжелое кряхтение. Мерин не мог более переносить этого, не мог более избежать ударов. Он остановился посередине двора, на лице его выразилось отвратительное слабое озлобление бессильной старости, потом отчаяние; он приложил уши и вдруг что-то такое сделал, отчего все лошади вдруг затихли. Подошла самая старая кобыла, Вязопуриха, понюхала мерина и вздохнула. Вздохнул и мерин.

.....

Глава V

Посередине освещенного луной двора стояла высокая худая фигура мерина с высоким седлом, с торчащей шишкой луки. Лошади неподвижно и в глубоком молчании стояли вокруг него, как будто они что-то новое, необыкновенное узнали от него. И точно, новое и неожиданное они узнали от него.

Вот что они узнали от него.

.....

НОЧЬ 1-Я

– Да, я сын Любезного первого и Бабы. Имя мое по родословной Мужик первый. Я Мужик первый по родословной, я Холстомер по-уличному, прозванный так толпою за длинный и размашистый ход, равного которому не было в России. По происхождению нет в мире лошади выше меня по крови. Я никогда бы не сказал вам этого. К чему? Вы бы никогда не узнали меня. Как не узнавала меня Вязопуриха, бывшая со мной вместе в Хреновом* и теперь только признавшая меня. Вы бы и теперь не поверили мне, ежели бы не было свидетельства этой Вязопурихи. Я бы никогда не сказал вам этого. Мне не нужно лошадиное сожаление. Но вы хотели этого. Да, я тот Холстомер, которого отыскивают и не находят охотники, тот Холстомер, которого знал сам граф и сбыл с завода за то, что я обежал его любимца, Лебеда.

.....

Когда я родился, я не знал, что такое значит *пегий*, я думал, что я лошадь. Первое замечание о моей шерсти, помню, глубоко поразило меня и мою мать. Я родился, должно быть,

ночью, к утру я, уже облизанный матерью, стоял на ногах. Помню, что мне все чего-то хотелось и все мне казалось чрезвычайно удивительно и вместе чрезвычайно просто. Денники* у нас были в длинном теплом коридоре, с решетчатыми дверьми, сквозь которые все видно было. Мать подставляла мне соски, а я был так еще невинен, что тыкал носом то ей под передние ноги, то под коягу*. Вдруг мать оглянулась на решетчатую дверь и, перенесши через меня ногу, посторонилась. Дневальный конюх смотрел к нам в денник через решетку.



– Ишь ты, Баба-то ожеребилась, – сказал он и стал отворять задвижку; он взошел по свежей постилке и обнял меня руками. – Глянь-ка, Тарас, – крикнул он, – пегой какой, ровно сорока!

Я рванулся от него и спотыкнулся на колени.

– Вишь, чертенюк, – проговорил он.

Мать обеспокоилась, но не стала защищать меня и, только тяжело-тяжело вздохнув, отошла немного в сторону. Пришли конюха и стали смотреть меня. Один побежал объявить конюшему. Все смеялись, глядя на мои пежины, и давали мне разные странные названия. Не только я, но и мать не понимала значения этих слов. До сих пор между нами и всеми моими родными не было ни одного пегого. Мы не думали, чтоб в этом было что-нибудь дурное. Сложение же и силу мою и тогда все хвалили.

– Вишь, какой шустрый, – говорил конюх, – не удержишь.

Через несколько времени пришел конюший и стал удивляться на мой цвет, он даже казался огорченным.

– И в кого такая уродина, – сказал он, – генерал его теперь не оставит в заводе. Эх, Баба, посадила ты меня, – обратился он к моей матери. – Хоть бы лысого ожеребила, а то вовсе пегого!

Мать моя ничего не отвечала и, как всегда в подобных случаях, опять вздохнула.

– И в какого черта он уродился, точно мужик, – продолжал он. – В заводе нельзя оставить – срам, а хорош, очень хорош, – говорил и он, говорили и все, глядя на меня.

Через несколько дней пришел и сам генерал посмотреть на меня, и опять все чему-то ужасались и бранили меня и мою мать за цвет моей шерсти. «А хорош, очень хорош», – повторял всякий, кто только меня видел.

До весны мы жили в маточной все порознь, каждый при своей матери, только изредка, когда снег на крышах варков стал уже таять от солнца, нас с матерями стали выпускать на широкий двор, устланный свежей соломой. Тут в первый раз я узнал всех своих родных, близких и дальних. Тут из разных дверей я видел, как выходили с своими сосунками все знаменитые кобылы того времени. Тут была старая Голанка, Мушка – Сметанкина дочь, Краснуха, верховая Доброхотиха – все знаменитости того времени, все собирались тут с своими сосунками, похаживали по солнышку, катались по свежей соломе и обнюхивали друг друга, как и простые лошади. Вид этого варка, наполненного красавицами того времени, я не могу забыть до сих пор. Вам странно думать и верить, что и я был молод и резов, но это так было. Тут была эта самая Вязопуриха, тогда еще годовалым стригунчиком – милой, веселой и резвой лошадкой; но, не в обиду будь ей сказано, несмотря на то что она редкостью по крови теперь считается между вами, тогда она была из худших лошадей того приплода. Она сама вам подтвердит это.

Пестрота моя, так не нравившаяся людям, чрезвычайно понравилась всем лошадям; все окружили меня, любовались и заигрывали со мною. Я начал уже забывать слова людей о моей пестроте и чувствовал себя счастливым. Но скоро я узнал первое горе в моей жизни, и причиной его была мать. Когда уже начало таять, воробьи чирикали под навесом и в воздухе сильнее начала чувствоваться весна, мать моя стала переменяться в обращении со мною. Весь нрав ее изменился: то она вдруг без всякой причины начинала играть, бегая по двору, что совершенно не шло к ее почтенному возрасту; то задумывалась и начинала ржать; то кусала и брыкала в своих сестер-кобыл; то начинала обнюхивать меня и недовольно фыркать; то, выходя на солнце, клала свою голову чрез плечо своей двоюродной сестре Купчихе и долго задумчиво чесала ей спину и отталкивала меня от сосков. Один раз пришел конюший, велел надеть на нее недоуздок, и ее повели из денника. Она заржала, я откликнулся ей и бросился за нею, но она и не оглянулась на меня. Конюх Тарас схватил меня в охапку, в то время как затворяли дверь за выведенной матерью. Я рванулся, сбил конюха в солому, – но дверь была заперта, и я только

слышал все удалявшееся ржание матери. И в ржании этом я уже не слышал призыва, а слышал другое выражение. На ее голос далеко отозвался могущественный голос, как я после узнал, Доброго первого, который с двумя конюхами по сторонам шел на свидание с моею матерью. Я не помню, как вышел Тарас из моего денника, – мне было слишком грустно. Я чувствовал, что навсегда потерял любовь своей матери. И все оттого, что я пегий, думал я, вспоминая слова людей о своей шерсти; и такое зло меня взяло, что я стал биться об стены денника головой и коленами, и бился до тех пор, пока не вспотел и не остановился в изнеможении.

Через несколько времени мать вернулась ко мне. Я слышал, как она рысцой и непривычным ходом подбегала к нашему деннику по коридору. Ей отворили дверь, я не узнал ее – как она помолодела и похорошела. Она обнюхала меня, фыркнула и начала гоготать. По всему выражению ее я видел, что она меня не любила. Она рассказывала мне про красоту Доброго и про свою любовь к нему. Свидания эти продолжались, и между мною и матерью отношения становились холоднее и холоднее.

Скоро нас выпустили на траву. С этой поры я узнал новые радости, которые мне заменили потерю любви моей матери. У меня были подруги и товарищи, мы вместе учились есть траву, ржать так же, как и большие, и, подняв хвосты, скакать кругами вокруг своих матерей. Это было счастливое время. Мне все прощалось, все меня любили, любовались мною и снисходительно смотрели на все, что бы я ни сделал. Это продолжалось недолго. Тут скоро случилось со мной ужасное...

Мерин вздохнул тяжело-тяжело и пошел прочь от лошадей.

Заря уже давно занялась. Заскрипели ворота, вошел Нестер. Лошади разошлись. Табунщик оправил седло на мерине и выгнал табун.

Глава VI

НОЧЬ 2-Я

Как только лошади были загнаны, они опять столпились вокруг пегого.

– В августе месяце нас разлучили с матерью, – продолжал пегий, – и я не чувствовал особенного горя. Я видел, что мать моя носила уже меньшого моего брата, знаменитого У сана, и я уже не был тем, чем был прежде. Я не ревновал, но я чувствовал, что становился холодней к ней. Кроме того, я знал, что, оставив мать, я поступлю в общее отделение жеребят, где мы стояли по двое и по трое, – и каждый день всей гурьбой молодежи выходили на воздух. Я стоял в одном деннике с Милым. Милый был верховый, и впоследствии на нем ездил император, и его изображали на картинках и в статуях. Тогда он еще был простой сосунок, с глянцевиной нежной шерстью, лебединой шейкой и, как струнки, ровными и тонкими ногами. Он был всегда весел, добродушен и любезен; всегда был готов играть, лизаться и подшутить над лошадью или человеком. Мы с ним невольно подружились, живя вместе, и дружба эта продолжалась во все время нашей молодости. Он был весел и легкомыслен. Он тогда уже начинал любить, заигрывал с кобылками и смеялся над моей невинностью. И, на мое несчастье, я из самолюбия стал подражать ему; и очень скоро увлекся любовью. И эта ранняя склонность моя была причиной величайшей перемены моей судьбы. Случилось так, что я увлекся.

Вязопуриха была старше меня одним годом, мы с нею были особенно дружны; но под конец осени я заметил, что она начала дичиться меня... Но я не стану рассказывать всей этой несчастной истории моей первой любви, она сама помнит мое безумное увлечение, окончившееся для меня самой важной переменной в моей жизни. Табунщики бросились гонять ее и бить меня. Вечером меня загнали в особый денник; я ржал целую ночь, как будто предчувствуя события завтрашнего дня.

Наутро пришли в коридор моего денника генерал, конюший, конюха и табунщики, и начался страшный крик. Генерал кричал на конюшего, конюший оправдывался, что он не велел меня пускать, а что это самовольно сделали конюха. Генерал сказал, что он всех перепорет, а жеребчиков нельзя держать. Конюший обещался, что все исполнит. Они затихли и ушли. Я ничего не понимал, но я видел, что что-то такое замышлялось обо мне.

.....

На другой день после этого я уже навеки перестал ржать, я стал тем, что я теперь. Весь свет изменился в моих глазах. Ничто мне не стало мило, я углубился в себя и стал размышлять. Сначала мне все было постыло. Я перестал даже пить, есть и ходить, а уж об игре и думать нечего. Иногда мне приходило в голову взбрыкнуть, поскакать, поржать; но сейчас же представлялся страшный вопрос: зачем? к чему? И последние силы пропадали.

Один раз меня проваживали вечером, в то время как табун гнали с поля. Я издали еще увидел облако пыли с неясными знакомыми очертаниями всех наших маток. Я услышал веселое гоготанье и топот. Я остановился, несмотря на то что веревка недоуздка, за который меня тянул конюх, резала мне затылок, и стал смотреть на приближающийся табун, как смотрят на всегда потерянное и невозвратимое счастье. Они приближались, и я различал по одной – все мне знакомые, красивые, величавые, здоровые и сытые фигуры. Кое-кто из них тоже оглянулся на меня. Я не чувствовал боль от дерганья недоуздка конюха. Я забылся и невольно, по старой памяти, заржал и побежал рысью; но ржание мое отозвалось грустно, смешно и нелепо. В табуне не засмеялись, – но я заметил, как многие из них из приличия отвернулись от меня. Им, видимо, и гадко, и жалко, и совестно, а главное – смешно было на меня. Им смешно было на мою тонкую невыразительную шею, большую голову (я похудел в это время), на мои длинные, неуклюжие ноги и на глупый аллюр рысцей, который я, по старой привычке, предпринял вокруг конюха. Никто не отозвался на мое ржание, все отвернулись от меня. Я вдруг все понял, понял, насколько я навсегда стал далек от всех их, и не помню, как пришел домой за конюхом.

Я уже и прежде показывал склонность к серьезности и глубокомыслию, теперь же во мне сделался решительный переворот. Моя пежина, возбуждавшая такое странное презрение в людях, мое странное неожиданное несчастье и еще какое-то особенное положение мое на заводе, которое я чувствовал, но никак еще не мог объяснить себе, заставили меня углубиться в себя. Я задумывался над несправедливостью людей, осуждавших меня за то, что я пегий, я задумывался о непостоянстве материнской и вообще женской любви и зависимости ее от физических условий, и, главное, я задумывался над свойствами той странной породы животных, с которыми мы так тесно связаны и которых мы называем людьми, – теми свойствами, из которых вытекала особенность моего положения на заводе, которую я чувствовал, но не мог понять. Значение этой особенности и свойств людских, на которых она была основана, открылось мне по следующему случаю.

Это было зимою, во время праздников. Целый день мне не давали корму и не поили меня. Как я после узнал, это происходило потому, что конюх был пьян. В этот же день конюший взошел ко мне, посмотрел, что нет корму, и начал ругать самыми дурными словами конюха, которого здесь не было, потом ушел. На другой день конюх с другим товарищем взошел в наш денник задавать нам сена, я заметил, что он особенно был бледен и печален; в особенности в выражении длинной спины его было что-то значительное и вызывающее сострадание. Он сердито бросил сено за решетку; я сунулся было головой чрез его плечо, но он кулаком так больно ударил меня по храпу, что я отскочил. Он еще ударил меня сапогом по животу.

– Кабы не этот коростовый, – сказал он, – ничего бы не было.

– А что? – спросил другой конюх.

– Небось графских не ходит проведывать, а *своего* жеребенка по два раза в день наведывает.

– Разве отдали ему пегого-то? – спросил другой.

– Продали, подарили ли – пес их ведает. Графских хоть всех голодом помори – ничего, а вот как смел *его* жеребенку корму не дать. «Ложись», – говорит и ну бузовать. Христианства нет. Скотину жалчей человека, креста, видно, на нем нет, сам считал, варвар. Генерал так не парывал, всю спину исполосовал, видно, христианской души нет.

То, что они говорили о сечении и о христианстве, я хорошо понял, – но для меня совершенно было темно тогда, что такое значили слова: *своего, его* жеребенка, из которых я видел, что люди предполагали какую-то связь между мною и конюшим. В чем состояла эта связь, я никак не мог понять тогда. Только гораздо уже после, когда меня отделили от других лошадей, я понял, что это значило. Тогда же я никак не мог понять, что такое значило то, что *меня* называли собственностью человека. Слова: моя лошадь, относимые ко мне, живой лошади, казались мне так же странны, как слова: моя земля, мой воздух, моя вода.

Но слова эти имели на меня огромное влияние. Я не переставая думал об этом и только долго после самых разнообразных отношений с людьми понял наконец значение, которое приписывается людьми этим странным словам. Значение их такое: люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними слова. Таковые слова, считающиеся очень важными между ними, суть слова: мой, моя, мое, которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил – *мое*. И тот, кто про наибольшее число вещей по этой условленной между ними игре говорит *мое*, тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю, но это так. Я долго прежде старался объяснить себе это какую-нибудь прямою выгодою; но это оказалось несправедливым.

Многие из тех людей, которые меня, например, называли своей лошадейю, не ездили на мне, но ездили на мне совершенно другие. Кормили меня тоже не они, а совершенно другие. Делали мне добро опять-таки не они – те, которые называли меня своей лошадейю, а кучера, коновалы и вообще сторонние люди. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие *мое* не имеет никакого другого основания, как низкий и животный людской инстинкт, называемый ими чувством или правом собственности. Человек говорит: «дом мой» – и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании дома. Купец говорит: «моя лавка». «Моя лавка сукон», например, – и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, которые землю называют своею, а никогда не видали этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими, а никогда не видали этих людей; и все отношение их к этим людям состоит в том, что они делают им зло. Есть люди, которые женщин называют своими женщинами или женами, а женщины эти живут с другими мужчинами. И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно больше вещей *своими*. Я убежден теперь, что в этом-то и состоит существенное различие людей от нас. И потому, не говоря уже о других наших преимуществах перед людьми, мы уже по одному этому смело можем сказать, что стоим в лестнице живых существ выше, чем люди; деятельность людей – по крайней мере, тех, с которыми я был в сношениях, руководима словами, наша же – делом. И вот это право говорить обо мне *моя* лошадь получил конюший и от этого высек конюха. Это открытие сильно поразило меня и вместе с теми мыслями и суждениями, которые вызывала в людях моя пегая масть, и с задумчивостью, вызванною во мне изменою моею матери, заставило меня сделаться тем серьезным и глубокомысленным меринком, которым я есмь.

Я был трижды несчастлив: я был пегий, я был мерин и люди вообразили себе обо мне, что я принадлежал не Богу и себе, как это свойственно всему живому, а что я принадлежал конюшему.

Последствий того, что они вообразили себе это обо мне, было много. Первое из них уж было то, что меня держали отдельно, кормили лучше, чаще гоняли на корде и раньше запрягли. Меня запрягли в первый раз по третьему году. Я помню, как в первый раз сам конюший, который воображал, что я ему принадлежу, с толпою конюхов стали запрягать меня, ожидая от меня буйства или противодействия. Они скрянчили мне губу. Они обвили меня веревками, заводя в оглобли; они надели мне на спину широкий ременный крест и привязали его к оглоблям, чтоб я не бил задом; а я ожидал только случая показать свою охоту и любовь к труду.

Они удивлялись, что я пошел как старая лошадь. Меня стали проезжать, и я стал упражняться в беганье рысью. С каждым днем я делал бóльшие и бóльшие успехи, так что чрез три месяца сам генерал и многие другие хвалили мой ход. Но странное дело, именно потому, что они воображали себе, что я не свой, а конюшого, ход мой получал для них совсем другое значение.

Жеребцов, моих братьев, проезжали на бегу, вымеряли их пронос, выходили смотреть на них, ездили в золоченых дрожках, накидывали на них дорогие попоны. Я ездил в простых дрожках конюшого по его делам в Чесменку и другие хутора. Все это происходило оттого, что я был пегий, а главное потому, что я был, по их мнению, не графский, а собственность конюшого.

Завтра, если будем живы, я расскажу вам, какое главное последствие имело для меня это право собственности, которое воображал себе конюший.

Весь этот день лошади почтительно обращались с Холстомером. Но обращение Нестера было так же грубо. Чалый жеребеночек мужика, уже подходя к табуну, заржал, и бурая кобылка опять кокетничала.

Глава VII

НОЧЬ 3-Я

Народился месяц, и узенький серп его освещал фигуру Холстомера, стоявшего посередине двора. Лошади толпились около него.

– Главное удивительное последствие для меня того, что я был не графский, не Божий, а конюшого, – продолжал пегий, – было то, что то, что составляет главную заслугу нашу, – резвый ход, сделалось причиной моего изгнания. Проезжали на кругу Лебеда, а конюший из Чесменки подъехал на мне и стал у круга. Лебедь прошел мимо нас. Он хорошо ехал, но он все-таки щеголял, не было в нем той спорости, которую я выработал в себе, того, чтобы мгновенно при прикосновении одной ноги отделялась другая и не тратилось бы ни малейшего усилия праздну, а всякое усилие двигало бы вперед. Лебедь прошел мимо нас. Я потянулся в круг, конюший не задержал меня. «А что, померять моего Пегаша?» – крикнул он, и, когда Лебедь поравнялся другой раз, он пустил меня. У того уж была набрана скорость, и потому я отстал на первом заезде, но во второй я стал набирать на него, стал близиться к дрожкам, стал равняться, обходить и обошел. Попытали другой раз – то же самое. Я был резвее. И это привело всех в ужас. Решили, чтобы скорее продать меня подальше, чтобы и слуху не было. «А то узнает граф – и беда!» Так говорили они. И меня продали барышнику в Коренной*. У барышника я пробыл недолго. Меня купил гусар, приезжавший за ремонтом*. Все это было так несправедливо, так жестоко, что я был рад, когда меня вывели из Хреновой и навсегда разлучили со всем, что мне было родно и мило. Мне было слишком тяжело между ними. Им предстояли любовь, почести, свобода, мне – труд, унижения, унижения, труд, и до конца моей жизни! За что? За то, что я был пегий и что от этого я должен был сделаться чьею-то лошадейю.

Дальше в этот вечер Холстомер не мог рассказывать. На варке случилось событие, переполошившее всех лошадей. Купчиха, жеребая запоздавшая кобыла, слушавшая сначала рас-

сказ, вдруг повернулась и медленно отошла под сарай и там начала кряхтеть так громко, что все лошади обратили на нее внимание, потом она легла, потом опять встала, опять легла. Старые матки поняли, что с ней, но молодежь пришла в волнение и, оставив мерина, окружила больную. К утру был новый жеребенок, качавшийся на ножках. Нестер кликнул конюшого, и кобылу с жеребенком отвели в денник, а лошадей погнали без нее.

Глава VIII

НОЧЬ 4-Я

Вечером, когда ворота затворили и все затихло, пегий продолжал так:

– Много наблюдений над людьми и лошадьми успел я сделать во время всех моих переходов из рук в руки. Дольше всего я был у двух хозяев: у князя, гусарского офицера, потом у старушки, жившей у Николы Явленного*.

У гусарского офицера я провел лучшее время моей жизни.

Хотя он был причиной моей гибели, хотя он ничего и никого никогда не любил, я любил его и люблю его именно за это. Мне нравилось в нем именно то, что он был красив, счастлив, богат и потому никого не любил. Вы понимаете это наше высокое лошадиное чувство. Его холодность, его жестокость, моя зависимость от него придавали особенную силу моей любви к нему. Убей, загони меня, думал я, бывало, в наши хорошие времена, я тем буду счастливее.

Он купил меня у барышника, которому за восемьсот рублей продал меня конюший. Он купил меня за то, что ни у кого не было пегих лошадей. Это было мое лучшее время. У него была любовница. Я знал это потому, что каждый день возил его к ней и ее и иногда возил их вместе. Любовница его была красавица, и он был красавец, и кучер у него был красавец. И я всех их любил за это. И мне было хорошо жить. Жизнь моя проходила так: с утра приходил конюх чистить меня, не сам кучер, а конюх. Конюх был молодой молодчик, взятый из мужиков. Он отворял дверь, выпускал пар лошадиный, выкидывал навоз, снимал попоны и начинал ерзать щеткой по телу и скребницей класть беловатые ряды плоти* на избитый шипами накатник пола*. Я шутиливо покусывал его за рукав, я постукивал ногой. Потом подводили одного за другим к чану холодной воды, и малый любовался на гладкие своего труда пежины, на ногу, прямую, как стрела, с широким копытом, и на лоснящийся круп и спину, хоть спать ложись. За высокие решетки закладывали сено, высыпали овес в дубовые ясли. Приходил Феофан, старший кучер.

Хозяин и кучер были похожи. И тот и другой ничего не боялись и никого не любили, кроме себя, и за это все любили их. Феофан ходил в красной рубахе и плисовых* штанах и поддевке*. Я любил, когда он, бывало, в праздник, напوماженный, в поддевке, зайдет в конюшню и крикнет: «Ну, животины, забыла!» – и толканет рукояткой вилок меня по ляжке, но никогда не больно, а только для шутки. Я тотчас же понимал шутку и, прикладывая ухо, щелкал зубами.

Был у нас вороной жеребец из пары. Меня по ночам запрягали и с ним. Полкан этот не понимал шуток, а был просто зол как черт. Я с ним рядом стоял, через стойло, и, бывало, серьезно грызся. Феофан не боялся его. Бывало, подойдет прямо, крикнет, кажется, убьет, – нет, мимо, и Феофан наденет оброть*. Раз мы с ним в паре понесли вниз по Кузнецкому. Ни хозяин, ни кучер не испугались, оба смеялись, кричали на народ и сдерживали и поворачивали, так никого и не задавили.

В их службе я потерял лучшие свои качества и половину жизни. Тут меня и опоили, и разбили на ноги. Но несмотря на то, это было лучшее время моей жизни. В двенадцать приходили, впрягали, мазали копыты, смачивали челку и гриву и вводили в оглобли.

Сани были камышовые, плетеные, бархатные, сбруя с маленькими серебряными пряжечками, вожжи шелковые и одно время – филе*. Запряжка была такая, что, когда все поводки, ремешки были прилажены и застегнуты, нельзя было разобрать, где кончается запряжка и начинается лошадь. Запрягут в сарае на развязке*. Выйдет Феофан с задом шире плеч, в красном кушаке под мышки, оглядит запряжку, сядет, заправит кафтан, выставит ногу в стремя, пошутит что-нибудь всегда, привесит кнут, которым почти никогда не стегнет меня, только для порядка, и скажет: «Пущай!» И, играя каждым шагом, я трогаю из ворот, и кухарка, вышедшая выплеснуть помои, останавливается на пороге, и мужики, привезшие на двор дрова, таращат глаза. Выедет, проедет и станет. Выйдут лакеи, подъедут кучера, и пойдут разговоры. Всё ждут, часа три иногда стоим у подъезда, изредка проезжаем, заворачиваем и опять становимся.

Наконец зашумят в дверях, выбежит во фраке седой Тихон с брюшком: «Подавай!» Тогда не было этой глупой манеры говорить: «Вперед!» – как будто я не знаю, что ездят не назад, а вперед. Чмокнет Феофан. Подъедет, и выходит торопливо-небрежно, как будто ничего удивительного нет ни в этих санях, ни в лошади, ни в Феофане, который изогнет спину и вытянет руки так, как их, кажется, держать долго нельзя, выйдет князь в кивере и шинели с бобровым седым воротником, закрывающим румяное черноебровое красивое лицо, которое бы никогда закрывать не надо, выйдет, побрякивая саблей, шпорами и медными задниками калош*, ступая по ковру, как будто торопясь и не обращая внимания на меня и на Феофана, то, на что смотрят и чем любят все, кроме его. Чмокнет Феофан, я влягу в поводья, и честно, шагом подъедем, станем; я покошусь на князя, взмахну кровной головой и тонкой челкой. Князь в духе, иногда пошутит с Феофаном, Феофан ответит, чуть оборачивая красивую голову, и, не спуская рук, делает чуть заметное, понятное для меня движение вожжами, и раз-раз-раз, все шире и шире, содрогаясь каждым мускулом и кидая снег с грязью под передок, я еду. Тогда тоже не было нынешней глупой манеры кричать: «О!» – как будто у кучера болит что-нибудь, а непонятное: «Пади берегись!» «Пади берегись!» – покрикивает Феофан, и народ сторонится, и останавливается, и шею кривит, оглядываясь на красавца мерина, красавца кучера и красавца барина.



Любил я перегнать рысака. Когда, бывало, мы издалека завидим с Феофаном упряжь, достойную нашего усилия, и мы, летя как вихрь, медленно начинаем наплывать ближе и ближе, уж я кидаю грязь в спинку саней, равняюсь с седоком и над головой фыркаю ему, равняюсь с седёлкой*, с дугой, уж не вижу его и слышу только сзади себя все удаляющиеся его звуки. А князь, и Феофан, и я – мы все молчим и делаем вид, что мы просто едем по своему делу, что мы и не замечаем тех, которые попадают на пути на плохих лошадях. Любил я перегнать, но любил я также встретиться с хорошим рысаком; один миг, звук, взгляд – и мы уж разъехались и опять одиноко летим, каждый в свою сторону.

Заскрипели ворота, и послышались голоса Нестера и Васьки.

НОЧЬ 5-Я

Погода начала изменяться. Было пасмурно, с утра и росы не было, но тепло, и комары липли. Как только табун загнали, лошади собрались вокруг пегого, и он так кончил свою историю:

– Счастливая жизнь моя кончилась скоро. Я прожил так только два года. В конце второй зимы случилось самое радостное для меня событие и вслед за ним самое большое мое несчастье. Это было на Масленице, я повез князя на бег. На бегу ехали Атласный и Бычок. Не знаю, что он делал там в беседке, но знаю, что он вышел и велел Феофану въехать в круг. Помню, меня ввели в круг, поставили и поставили Атласного. Атласный ехал с поддужным*, я, как был, в городских санках. В завороте я его кинул; и хохот и рев восторга приветствовали меня.

Когда меня проваживали, за мной ходила толпа. И человек пять предлагали князю тысячи. Он только смеялся, показывая свои белые зубы.

– Нет, – говорил он, – то не лошадь, а друг, горы золота не возьму. До свиданья, господа. – Расстегнул полость, сел.

– На Стожинку*! – Это была квартира его любовницы.

И мы полетели. Это был наш последний счастливый день.

Мы приехали к ней. Он называл ее своею. А она полюбила другого и уехала с ним. Он узнал это у нее на квартире. Было пять часов, и он, не отпрягая меня, поехал за ней. Чего никогда не было: меня стегали кнутом и пускали скакать. В первый раз я сделал сбой, и мне совестно стало, и я хотел поправиться; но вдруг я услышал, князь кричал не своим голосом: «Валяй!» И свистнул кнут и резнул меня, и я поскакал, ударяя ногой в железо передка. Мы догнали ее за двадцать пять верст. Я довез его, но дрожал всю ночь и не мог ничего есть. Наутро мне дали воды. Я выпил и навек перестал быть той лошадыю, какою я был. Я болел, меня мучали и калечили – лечили, как это называют люди. Сошли копыты, сделались наливывы, и ноги согнулись, груди не стало, и появилась вялость и слабость во всем. Меня продали барышнику. Он меня кормил морковью и еще чем-то и сделал из меня что-то совсем непохожее на меня, но такое, что могло обмануть незнающего. Ни силы, ни езды во мне уже не было. Кроме того, барышник мучал меня тем, что, как только приходили покупатели, он входил в мой денник и начинал больным кнутом стегать и пугать меня, так что доводил до бешенства. Потом затирали рубцы от кнута и выводил. У барышника купила меня старушка. Ездила она все к Николе Явленному и секла кучера. Кучер плакал в моем стойле. И тут я узнал, что слезы имеют приятный соленый вкус. Потом старушка умерла. Приказчик ее взял меня в деревню и продал краснорядцу*, потом я объелся пшеницы и еще хуже заболел. Меня продали мужику. Там я пахал, почти ничего не ел, и мне подрезали ногу сошниками. Я опять болел. Цыган выменял меня. Он мучал меня ужасно и наконец продал здешнему приказчику. И вот я здесь.

Все молчали. Стал накрапывать дождь.

Глава IX

Возвращаясь домой в следующий вечер, табун наткнулся на хозяина с гостем. Жулдыба, подходя к дому, покосилась на две мужские фигуры: один был молодой хозяин в соломенной шляпе, другой высокий, толстый, обрюзгший военный. Старуха покосилась на людей и, прижав, прошла подле него; остальные – молодежь – переполошились, замялись, особенно когда хозяин с гостем нарочно вошли в середину лошадей, что-то показывая друг другу и разговаривая.

– Вот эту я у Воейкова купил – серую в яблоках, – говорил хозяин.

– А эта молодая вороная белоножка чья? Хороша! – говорил гость.

Они перебрали много лошадей, забегая и останавливая. Заметили и бурую кобылку.

– Это от верховых хреновских осталась у меня порода, – сказал хозяин.

Они не могли рассмотреть всех лошадей на ходу. Хозяин закричал Нестера, и старик, торопливо постукивая каблуками бока пегого, рысцой выбежал вперед. Пегий ковылял, припадая на одну ногу, но бежал так, что видно было, он ни в каком случае не стал бы роптать, даже ежели бы ему велели бежать так, насколько хватит силы, на край света. Он даже готов был бежать навскачь и даже покушался на это с правой ноги.

– Вот лучше этой кобылы – я смело могу сказать – нет лошади в России, – сказал хозяин, указывая на одну из кобыл.

Гость похвалил. Хозяин взволнованно заходил, забегал, показывал и рассказывал историю и породу каждой лошади. Гостю, очевидно, было скучно слушать хозяина, и он придумывал вопросы, чтобы было похоже, что и он интересуется этим.

– Да, да, – говорил он рассеянно.

– Ты взгляни, – говорил хозяин, не отвечая, – ноги взгляни... Дорого досталась, да уж у меня третьяк от нее и едет.

– Хорошо едет? – сказал гость.

Так перебрали почти всех лошадей, и показывать больше нечего было. И они замолчали.

– Ну что ж, пойдем?

– Пойдем.

Они пошли в ворота. Гость рад был, что кончилось показыванье и что пойдут домой, где можно поесть, попить, покурить, и видимо повеселел. Проходя мимо Нестера, который, сидя на пегом, ожидал еще приказаний, гость хлопнул большой жирной рукой по крупу пегого.

– Вот расписной-то! – сказал он. – Такой-то у меня был пегий, помнишь, я тебе рассказывал.

Хозяин услышал, что говорят не об его лошадях, и не слушал, а, оглядываясь, продолжал смотреть на табун.

Вдруг над самым ухом его послышалось глупое, слабое, старческое ржание. Это заржал пегий, не кончил и, как будто сконфузился, оборвал. Ни гость, ни хозяин не обратили внимания на это ржанье и прошли домой. Хо л стомер узнал в обрюзгшем старике своего любимого хозяина, бывшего блестящего богача-красавца Серпуховского.

Глава X

.....
Дождь продолжал моросить. На варке было пасмурно, а в барском доме было совсем другое. У хозяина был накрыт роскошный вечерний чай в роскошной гостиной. За чаем сидели хозяин, хозяйка и приезжий гость.

Хозяйка, беременная, что очень заметно было по ее поднявшемуся животу, прямой, выгнутой позе, по полноте и в особенности по глазам, внутрь кротко и важно смотревшим большим глазам, сидела за самоваром.

Хозяин держал в руках ящик особенных, десятилетних сигар, каких ни у кого не было, по его словам, и сбирался похвастать ими перед гостем. Хозяин был красавец лет двадцати пяти, свежий, холеный, расчесанный. Он дома был одет в свежую, широкую, толстую пару, сделанную в Лондоне. На цепочке у него были крупные дорогие брелоки. Запонки рубашки были большие, тоже массивные, золотые, с бирюзой. Борода была à la Наполеон III, и мышьяные хвостики были напوماжены и торчали так, как только могли это произвести в Париже. На хозяйке было платье шелковой кисеи с большими пестрыми букетами, на голове большие золотые, какие-то особенные шпильки в густых русых, хоть и не вполне своих, но прекрасных волосах. На руках было много браслетов и колец, и всё дорогие. Самовар был серебряный, сервиз тоненький. Лакей, великолепный в своем фраке и белом жилете и галстук, как статуя, стоял у двери, ожидая приказаний. Мебель была гнутая, изогнутая и яркая; обои темные, большими цветами. Около стола звенела серебряным ошейником левретка*, необычайно тонкая, которую звали необычайно трудным аглицким* именем, плохо выговариваемым обоими, не знавшими по-аглицки. В углу, в цветах, стояло фортепиано *incrusté*². От всего веяло новизной, роскошью и редкостью. Все было очень хорошо, но на всем был особенный отпечаток излишка, богатства и отсутствия умственных интересов.

Хозяин был рысистый охотник*, крепыш сангвиник*, один из тех, которые никогда не переводятся, ездят в собольих шубах, бросают дорогие букеты актрисам, пьют вино самое дорогое, с самой новой маркой, в самой дорогой гостинице, дают призы своего имени и содержат самую дорогую.

Приезжий, Никита Серпуховской, был человек лет за сорок, высокий, толстый, плешивый, с большими усами и бакенбардами. Он должен был быть очень красив. Теперь он опустился, видимо, физически, и морально, и денежно.

На нем было столько долгов, что он должен был служить, чтобы его не посадили в яму*. Он теперь ехал в губернский город начальником коннозаводства. Ему выхлопотали это его важные родные. Он был одет в военный китель и синие штаны. Китель и штаны были такие, каких бы никто себе не сделал, кроме богача, белье тоже, часы были тоже английские. Сапоги были на каких-то чудных, в палец толщины, подошвах.

Никита Серпуховской промотал в жизни состояние в два миллиона и остался еще должен сто двадцать тысяч. От такого куса всегда остается размах жизни, дающий кредит и возможность почти роскошно прожить еще лет десять. Лет десять уж проходили, и размах кончался, и Никите становилось грустно жить. Он начинал уже попивать, то есть хмелеть от вина, чего прежде с ним не бывало. Пить же, собственно, он никогда не начинал и не кончал. Более же всего заметно было его падение в беспокойстве взглядов (глаза его начинали бегать) и нетвердости интонаций и движений. Это беспокойство поражало тем, что оно, очевидно, недавно пришло к нему, потому что видно было, что он долго привык всю жизнь никого и ничего не бояться и что теперь, недавно только, он дошел тяжелыми страданиями до этого страха, столь несвойственного его натуре. Хозяин и хозяйка замечали это, переглядывались так, что, видимо понимая друг друга, откладывали только до постели подробное обсуждение этого предмета, и переносили бедного Никиту и даже ухаживали за ним. Вид счастья молодого хозяина унижал Никиту и заставлял его, вспоминая свое безвозвратное прошедшее, болезненно завидовать.

– Что, вам ничего сигары, Мари? – сказал он, обращаясь к даме тем особенным, неуловимым и приобретаемым только опытностью тоном – вежливым, приятельским, но не вполне уважительным, которым говорят люди, знающие свет, с содержанками, в отличие от жен. Не то

² С инкрустацией (*фр.*).

чтобы он хотел оскорбить ее, напротив, теперь он, скорее, хотел подделаться к ней и ее хозяину, хотя ни за что сам себе не признался бы в этом. Но он уж привык говорить так с такими женщинами. Он знал, что она сама бы удивилась, даже оскорбилась бы, ежели бы он с ней обходился как с дамой. Притом надо было удерживать за собой известный оттенок почтительного тона для настоящей жены своего равного. Он обращался с такими дамами всегда уважительно, но не потому, чтобы он разделял так называемые убеждения, которые проповедуются в журналах (он никогда не читал этой дряни) о уважении к личности каждого человека, о ничтожности брака и т. д., а потому, что так поступают все порядочные люди, а он был порядочный человек, хотя и упавший.

Он взял сигару. Но хозяин неловко взял горсть сигар и предложил гостю.

– Нет, ты увидишь, как хороши. Возьми.

Никита отклонил рукой сигары, и в глазах его мелькнуло чуть заметно оскорбление и стыд.

– Спасибо. – Он достал сигарочницу. – Попробуй моих.

Хозяйка была чуткая. Она заметила это и поспешила заговорить с ним:

– Я очень люблю сигары. Я бы сама курила, если бы не все курили вокруг меня.

И она улыбнулась своей красивой, доброй улыбкой. Он улыбнулся в ответ ей нетвердо. Двух зубов у него не было.

– Нет, ты возьми эту, – продолжал нечуткий хозяин. – Другие, те послабее. Фриц, bringen Sie noch einen Kasten, – сказал он, – dort zwei³.

Немец-лакей принес другой ящик.

– Ты какие больше любишь? Крепкие? Эти очень хороши. Ты возьми все, – продолжал он совать. Он, видимо, был рад, что было перед кем похвастаться своими редкостями, и ничего не замечал.

Серпуховской закурил и поспешил продолжать начатый разговор.

– Так во сколько тебе пришелся Атласный? – сказал он.

– Дорог пришелся, не меньше пяти тысяч, но, по крайней мере, уж я обеспечен. Какие дети, я тебе скажу!

– Едут? – спросил Серпуховской.

– Хорошо едут. Нынче сын его взял три приза: в Туле, Москве и в Петербурге бежал с воейковским Вороным. Каналья наездник сбил четыре сбоя*, а то бы за флагом оставил.

– Сыр он немного. Голландщины* много – вот что я тебе скажу, – сказал Серпуховской.

– Ну а матки-то на что? Я тебе покажу завтра. Добрыню я дал три тысячи. Ласковую – две тысячи.

И опять хозяин начал перечислять свое богатство. Хозяйка видела, что Серпуховскому это тяжело и что он притворно слушает.

– Будете еще чай пить? – спросила она.

– Не буду, – сказал хозяин и продолжал рассказывать.

Она встала, хозяин остановил ее, обнял и поцеловал.

Серпуховской начал было улыбаться, глядя на них и для них, ненатуральной улыбкой, но когда хозяин встал и, обняв ее, вышел с ней до портьера – лицо Никиты вдруг изменилось, он тяжело вздохнул, и на обрюзгшем лице его вдруг выразилось отчаяние. Даже злоба была видна на нем.

Глава XI

Хозяин вернулся и, улыбаясь, сел против Никиты. Они помолчали.

³ Принесите еще один ящик, там два (нем.).

– Да, ты говорил, у Воейкова купил, – сказал Серпуховской, как будто небрежно.

– Да – Атласного, ведь я говорил. Мне все хотелось кобыл у Дубовицкого купить. Да дрянь осталась.

– Он прогорел, – сказал Серпуховской и вдруг остановился и оглянулся кругом. Он вспомнил, что должен этому самому прогоревшему двадцать тысяч. И что если говорить про кого «прогорел», то уж, верно, про него говорят это. Он замолчал.

Оба опять долго молчали. Хозяин в голове перебирал, чем бы похвастаться перед гостем. Серпуховской придумывал, чем бы показать, что он не считает себя прогоревшим. Но у обоих мысли ходили туго, несмотря на то, что они старались подбодрять себя сигарами. «Что ж, когда выпить?» – думал Серпуховской. «Неприменно надо выпить, а то с ним с тоски умрешь», – думал хозяин.

– Так как же ты долго здесь пробудешь? – сказал Серпуховской.

– Да еще с месяц. Что ж, поужинаем, что ль? Фриц, готово?

Они вышли в столовую. В столовой под лампой стоял стол, уставленный свечами и самыми необыкновенными вещами: сифоны, куколки на пробках, вино необыкновенное в графинах, необыкновенные закуски, водки. Они выпили, съели, еще выпили, еще съели, и разговор завязался. Серпуховской раскраснелся и стал говорить не робея.

Они говорили про женщин. У кого какая: цыганка, танцовщица, француженка.

– Ну что ж, ты оставил Матье? – спросил хозяин.

Это была содержанка, которая разорила Серпуховского.

– Не я, а она. Ах, брат, как вспомнишь, что просадил в своей жизни! Теперь я рад, как заведутся тысяча рублёв, рад, право, как уеду от всех. В Москве не могу. Ах, что говорить!..

Хозяину было скучно слушать Серпуховского. Ему хотелось говорить про себя – хвастаться. А Серпуховскому хотелось говорить про себя – про свое блестящее прошедшее. Хозяин налил ему вина и ждал, когда он кончит, чтобы рассказать ему про себя, как у него теперь устроен завод так, как ни у кого не был прежде. И что его Мари не только из-за денег, но сердцем любит его.

– Я тебе хотел сказать, что в моем заводе... – начал было он. Но Серпуховской перебил его.

– Было время, могу сказать, – начал он, – что я любил и умел пожить. Ты вот говоришь про езду, ну скажи: какая у тебя самая резвая лошадь?

Хозяин обрадовался случаю рассказать еще про завод, и он начал было; но Серпуховской опять перебил его.

– Да, да, – сказал он. – Ведь это у вас, у заводчиков, только для тщеславия, а не для удовольствий и для жизни. А у меня не так было. Вот я тебе говорил нынче, что у меня была ездовая лошадь, пегая, такие же пежины, как под твоим табунщиком. Ох, лошадь же была! Ты не мог знать – это было в сорок втором году, я только приехал в Москву; поехал к барышнику и вижу: пегий мерин. Ладов хороших. Мне понравился. Цена? Тысяча рублей. Мне понравился, я взял и стал ездить. Не было у меня, да и у тебя нет и не будет такой лошади. Лучше я не знал лошади ни ездой, ни силой, ни красотой. Ты мальчишка был тогда, ты не мог знать, но ты слышал, я думаю. Вся Москва знала его.

– Да, я слышал, – неохотно сказал хозяин, – но я хотел тебе сказать про своих...

– Так ты слышал. Я купил его так, без породы, без аттестата; потом уж я узнал. Мы с Воейковым добирались. Это был сын Любезного первого, Холстомер. Холсты меряет. Его за пежину отдали с Хреновского завода конюшему, а тот выхолостил и продал барышнику. Таких уж лошадей нет, дружок! Ах, время было! «Ах ты, молодость!» – пропел он из цыганской песни. Он начинал хмелеть. – Эх, хорошее было время! Мне было двадцать пять лет, у меня было восемьдесят тысяч серебром дохода тогда, ни одного седого волоса, все зубы как жемчуг. За что ни возьмусь – все удаётся; и все кончилось.

– Ну, тогда не было той резвости, – сказал хозяин, пользуясь перерывом. – Я тебе скажу, что мои первые лошади стали ходить без...

– Твои лошади! Да тогда резвее были.

– Как резвее?

– Резвее. Я как, теперь, помню выехал я раз в Москве на бег на нем. Моих лошадей не было. Я не любил рысистых, у меня были кровные: Генерал, Шоле, Магомет. На пегом я ездил. Кучер у меня был славный малый, я любил его. Тоже спился. Так приехал я. «Серпуховской, когда, – говорят, – ты заведешь рысистых?» – «Мужиков-то ваших, черт их возьми, у меня извозчиций пегий всех ваших обежит!» – «Да вот не обегает!» – «Пари тысяча рублей». – Ударились. Пустили. На пять секунд обошел, тысячу рублей выиграл пари. Да это что! Я на кровных, на тройке, сто верст в три часа сделал. Вся Москва знает.

И Серпуховской начал врать так складно и так непрерывно, что хозяин не мог вставить ни одного слова и с унылым лицом сидел против него, только для развлечения подливая себе и ему вино в стаканы.

Стало уж светать. А они все сидели. Хозяину было мучительно скучно. Он встал.

– Спать – так спать, – сказал Серпуховской, вставая и шатаясь, и, отдуваясь, пошел в отведенную комнату.

Хозяин лежал с любовницей.

– Нет, он невозможен! Напился и врет не переставая.

– И за мной ухаживает.

– Я боюсь, будет просить денег.

Серпуховской лежал нераздетый на постели и отдувался.

«Кажется, я много врал, – подумал он. – Ну все равно. Вино хорошо, но свинья он большая. Купеческое что-то. И я свинья большая, – сказал он сам себе и захохотал. – То я содержал, то меня содержат. Да, Винклерша содержит – я у ней деньги беру. Так ему и надо, так ему и надо! Однако раздеться, сапоги не снимешь».

– Эй! Эй! – крикнул он, но человек, приставленный к нему, ушел давно спать.

Он сел, снял китель, жилет и штаны стоптал с себя кое-как, но сапог долго не мог стащить: брюхо мягкое мешало. Кое-как стащил один, другой – бился, бился, запыхался и устал. И так, с ногой в голенище, повалился и захрапел, наполняя всю комнату запахом табаку, вина и грязной старости.

Глава XII

Ежели Холстомер что еще вспоминал в эту ночь, то его развлек Васька. Кинул на него попону и поскакал, до утра он держал его у двери кабака с мужицкой лошадей. Они лизались. Утром он пошел в табун и все чесался.

«Что-то больно чешется», – думал он.

Прошло пять дней. Позвали коновала. Он с радостью сказал:

– Короста. Позвольте цыганам продать.

– Зачем? Зарежьте, только чтобы нынче его не было.

Утро тихое, ясное. Табун пошел в поле. Холстомер остался. Пришел странный человек, худой, черный, грязный, в забрызганном чем-то черном кафтане. Это был драч*. Он взял, не поглядев на него, повод оброти, надетой на Холстомера, и повел. Холстомер пошел спокойно, не оглядываясь, как всегда, волоча ноги и цепляя задними по соломе. Выйдя за ворота, он потянулся к колодцу, но драч дернул и сказал: «Не к чему».

Драч и Васька, шедший сзади, пришли в лошину за кирпичным сараем и, как будто что-то особенное было на этом самом обыкновенном месте, остановились, и драч, передав Ваське повод, снял кафтан, засучил рукава, достал из голенища нож и брусок, стал точить о брусок. Мерин потянулся к поводу, хотел от скуки пожевать его, но далеко было, он вздохнул и закрыл глаза. Губа его повисла, открылись съеденные желтые зубы, и он стал задремывать под звуки точения ножа. Только подрагивала его больная, с наплывом, отставленная нога. Вдруг он почувствовал, что его взяли под салазки и поднимают кверху голову. Он открыл глаза. Две собаки были перед ним. Одна нюхала по направлению к драчу, другая сидела, глядя на мерина, как будто ожидая чего-то именно от него. Мерин взглянул на них и стал тереть скулою о руку, которая держала его.

«Лечить, верно, хотя, – подумал он. – Пускай!»

И точно, он почувствовал, что что-то сделали с его горлом. Ему стало больно, он вздрогнул, ботнул* ногой, но удержался и стал ждать, что будет дальше. Дальше сделалось то, что что-то жидкое полилось большой струей ему на шею и грудь. Он вздохнул во все бока. И ему стало легче гораздо. Облегчилась вся тяжесть его жизни. Он закрыл глаза и стал склонять голову – никто не держал ее. Потом стала склоняться шея, потом ноги задрожали, зашаталось все тело. Он не столько испугался, сколько удивился. Все так ново стало. Он удивился, рванулся вперед, вверх. Но вместо этого ноги, сдвинувшись с места, заплелись, он стал валиться на бок и, желая переступить, завалился вперед и на левый бок. Драч подождал, пока прекратились судороги, отогнал собак, подвинувшихся ближе, и потом, взяв за ногу и отворотив мерина на спину и велел Ваське держать за ногу, начал свежевать.

– Тоже лошадь была, – сказал Васька.

– Кабы посытее, хороша бы кожа была, – сказал драч.

Табун проходил вечером горой, и тем, которые шли с левого края, видно было что-то красное внизу, около чего возились хлопотливо собаки и перелетали воронья и коршуны. Одна собака, упершись лапами в стерву*, мотая головой, отрывала с треском то, что зацепила. Бурая кобылка остановилась, вытянула голову и шею и долго втягивала в себя воздух. Насилу могли отогнать ее.

На заре в овраге старого леса, в заросшем низу, на полянке, радостно выли головастые волчята. Их было пять: четыре почти равные, а один маленький, с головой больше туловища. Худая линиявшая волчица, волоча полное брюхо с отвисшими сосками по земле, вышла из кустов и села против волчат. Волчята полукругом стали против нее. Она подошла к самому маленькому и, опустив полено* и перегнув морду книзу, сделала несколько судорожных движений и, открыв зубастый зев, натужилась и выхаркнула большой кусок конины. Волчята побольше сунулись к ней, но она угрожающе двинулась к ним и предоставила все маленькому. Маленький, как бы гневаясь, рыча, ухватил конину под себя и стал жрать. Так же выхаркнула волчица другому, и третьему, и всем пятерым и тогда легла против них, отдыхая.

Через неделю валялись у кирпичного сарая только большой череп и два мослака, остальное все было растаскано. На лето мужик, собиравший кости, унес и эти мослаки и череп и пустил их в дело.

Ходившее по свету, евшее и пившее мертвое тело Серпуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда негодились. А как уже двадцать лет всем в великую тягость было его ходившее по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю было только лишним затруднением для людей. Никому уж он давно был не нужен, всем уж давно он был в тягость, но все-таки мертвые, хоронящие мертвых, нашли нужным одеть это, тотчас же загнившее, пухлое тело в хороший мундир, в хорошие сапоги, уложить в новый хороший гроб, с новыми кисточками на четырех углах, потом положить этот новый гроб в

другой, свинцовый, и свезти его в Москву и там раскопать давнишние людские кости и именно туда спрятать это гниющее, кишачье червями тело в новом мундире и вычищенных сапогах и засыпать все землю.

Записки сумасшедшего

1883. 20 октября. Сегодня возили меня свидетельствовать в губернское правление, и мнения разделились. Они спорили и решили, что я не сумасшедший. Но они решили так только потому, что я всеми силами держался во время свидетельствования, чтобы не высказаться. Я не высказался, потому что боюсь сумасшедшего дома; боюсь, что там мне помешают делать мое сумасшедшее дело. Они признали меня подверженным аффектам и еще что-то такое, но – в здравом уме; они признали, но я-то знаю, что я сумасшедший. Доктор предписал мне лечение, уверяя меня, что если я буду строго следовать его предписаниям, то это пройдет. Все, что беспокоит меня, пройдет. О, что бы я дал, чтобы это прошло! Слишком мучительно. Расскажу по порядку, как и отчего оно взялось, это освидетельствование, как я сошел с ума и как выдал свое сумасшествие.

До тридцати пяти лет я жил как все, и ничего за мной заметно не было. Нешто только в первом детстве, до десяти лет, было со мной что-то похожее на теперешнее состояние, но и то только припадками, а не так, как теперь, постоянно. В детстве находило оно на меня немножко иначе. А именно вот так.

Помню, раз я ложился спать, мне было пять или шесть лет. Няня Евпраксия, высокая, худая, в коричневом платье, с чаплыжкой* на голове и с отвисшей кожей под бородой, раздела меня и посадила в кровать.

– Я сам, я сам, – заговорил я и перешагнул через перильца.

– Ну ложитесь, ложитесь, Феденька, – вон Митя, умник, уже легли, – сказала она, показывая головой на брата.

Я прыгнул в кровать, все держа ее руку. Потом выпустил, поболтал ногами под одеялом и закутался. И так мне хорошо. Я затих и думал: «Я люблю няню, няня любит меня и Митеньку, а я люблю Митеньку, а Митенька любит меня и няню. А няню любит Тарас, а я люблю Тараса, и Митенька любит. А Тарас любит меня и няню. А мама любит меня и няню, а няня любит маму, и меня, и папу, и все любят, и всем хорошо». И вдруг я слышу: вбегает экономка и с сердцем кричит что-то об сахарнице, и няня с сердцем говорит, она не брала ее. И мне становится больно, и страшно, и непонятно, и ужас, холодный ужас находит на меня, и я прячусь с головой под одеяло. Но и в темноте одеяла мне не легчает. Я вспоминаю, как при мне раз били мальчика, как он кричал и какое страшное лицо было у Фоки, когда он его бил.

«А не будешь, не будешь!» – приговаривал он и все бил. Мальчик сказал: «Не буду». А тот приговаривал «не будешь» и все бил. И тут на меня нашло. Я стал рыдать, рыдать. И долго никто не мог меня успокоить. Вот эти-то рыдания, это отчаяние были первыми припадками моего теперешнего сумасшествия. Помню, другой раз это нашло на меня, когда тетя рассказала про Христа. Она рассказала и хотела уйти, но мы сказали:

– Расскажи еще про Иисуса Христа.

– Нет, теперь некогда.

– Нет, расскажи. – И Митенька просил рассказать.

И тетя начинала опять то же, что она рассказала нам прежде. Она рассказала, что его распяли, били, мучили, а он все молился и не осудил их.

– Тетя, за что же его мучили?

– Злые люди были.

– Да ведь он был добрый.

– Ну будет, уже девятый час. Слышите?

– За что они его били? Он простил, да за что они били? Больно было? Тетя, больно ему было?

– Ну будет, я пойду чай пить.

- А может быть, это неправда, его не били?
- Ну будет.
- Нет, нет, не уходи!

И на меня опять нашло, рыдал, рыдал, потом стал биться головой об стену.

Так это находило на меня в детстве. Но с четырнадцати лет, с тех пор как проснулась во мне половая страсть и я отдался пороку, все это прошло, и я был мальчик как все мальчики. Как все мы, воспитанные на жирной излишней пище, изнеженные, без физического труда и со всеми возможными соблазнами для воспаления чувственности, и в среде таких же испорченных детей, мальчики моего возраста научили меня пороку, и я отдался ему. Потом этот порок заменился другим. Я стал знать женщин, и так, ища наслаждений и находя их, я жил до тридцати пяти лет. Я был совершенно здоров, и не было никаких признаков моего сумасшествия. Эти двадцать лет моей здоровой жизни прошли для меня так, что я теперь ничего из них почти не помню и вспоминаю теперь с трудом и омерзением.

Как все мальчики моего круга умственно здоровые, я поступил в гимназию, потом в университет, где и кончил курс по юридическому факультету. Потом я служил немного, потом сошелся с моей теперешней женой и женился и жил в деревне, как говорится, воспитывал детей, хозяйничал и был мировым судьей. На десятом году моей женитьбы случился со мной первый припадок после моего детства.

Мы скопили с женой деньги от ее наследства и моих свидетельств за выкуп и решили купить имение. Меня очень занимало, как и должно быть, увеличение нашего состояния и желание увеличить его самым умным способом, лучше, чем другие. Я узнавал тогда везде, где продаются имения, и читал все объявления в газетах. Мне хотелось купить так, чтобы доход или лес с имения покрыл бы покупку и я бы получил имение даром. Я искал такого дурака, который бы не знал толку, и раз мне показалось, что я нашел такого. Имение с большими лесами продавалось в Пензенской губернии. По всему, что я разузнал, выходило, что продавец именно такой дурак и леса окупят ценность имения. Я собрался и поехал. Ехали мы сначала по железной дороге (я ехал с слугою), потом поехали на почтовых перекладных. Поездка была для меня очень веселая. Слуга, молодой, добродушный человек, был так же весел, как и я. Новые места, новые люди. Мы ехали, веселились. До места нам было двести с чем-то верст. Мы решили ехать не останавливаясь, только переменяя лошадей. Наступила ночь, мы всё ехали. Стали дремать. Я задремал, но вдруг проснулся. Мне стало чего-то страшно. И как это часто бывает, проснулся испуганный, оживленный, – кажется, никогда не заснешь. «Зачем я еду? Куда я еду?» – пришло мне вдруг в голову. Не то чтобы не нравилась мысль купить дешево имение, но вдруг представилось, что мне не нужно ни за чем в эту даль ехать, что я умру тут, в чужом месте. И мне стало жутко. Сергей, слуга, проснулся, я воспользовался этим, чтоб поговорить с ним. Я заговорил о здешнем крае, он отвечал, шутил, но мне было скучно. Заговорили о домашних, о том, как мы купим. И мне удивительно было, как он весело отвечал. Все ему было хорошо и весело, а мне все было постыло. Но все-таки, пока я говорил с ним, мне было легче. Но кроме того, что мне скучно, жутко было, я стал чувствовать усталость, желание остановиться. Мне казалось, что войти в дом, увидеть людей, напиться чаю, а главное, заснуть легче будет. Мы подъезжали к городу Арзамасу.

- А что, не переждать ли нам здесь? Отдохнем немножко?
- Что ж, отлично.
- Что, далеко еще до города?
- От той версты – семь.

Ямщик был степенный, аккуратный и молчаливый. Он и ехал нескоро и скучно. Мы поехали. Я замолчал, мне стало легче, потому что я ждал впереди отдыха и надеялся, что там все пройдет. Ехали, ехали в темноте, ужасно мне казалось долго. Подъехали к городу. Народ весь уж спал. Показались в темноте домишки, зазвучал колокольчик и лошадиный топот, осо-

бенно отражаясь, как это бывает, около домов. Дома пошли кое-где большие белые. И все это невесело было. Я ждал станции, самовара и отдыха – лечь. Вот подъехали наконец к какому-то домику с столбом. Домик был белый, но ужасно мне показался грустный. Так что жутко даже стало. Я вылез потихоньку. Сергей бойко, живо вытаскивал что нужно, бегая и стуча по крыльцу. И звуки его ног наводили на меня тоску. Я вошел, был коридорчик, заспанный человек с пятном на щеке – пятно это мне показалось ужасным – показал комнату. Мрачная была комната. Я вошел, еще жутче мне стало.

– Нет ли комнатки, отдохнуть бы?

– Есть ну мерок. Он самый.

Чисто выбеленная квадратная комнатка. Как, я помню, мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная. Окно было одно, с гард инкой, – красной. Стол карельской березы и диван с изогнутыми сторонами. Мы вошли. Сергей устроил самовар, залил чай. А я взял подушку и лег на диван. Я не спал, но слушал, как Сергей пил чай и меня звал. Мне страшно было встать, разгулять сон и сидеть в этой комнате страшно. Я не встал, и стал задремывать. Верно, и задремал, потому что, когда я очнулся, никого в комнате не было и было темно. Я был опять так же пробужден, как на телеге. Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал? Куда я везу себя? От чего, куда я убегаю? – Я убегаю от чего-то страшного и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе. Я – вот он, я весь тут. Ни пензенское, ни какое именье ничего не прибавит и не убавит мне. А я-то, я-то надоел себе, несносен, мучителен себе.

Я хочу заснуть, забыться и не могу. Не могу уйти от себя. Я вышел в коридор. Сергей спал на узенькой скамье, скинув руку, но спал сладко, и сторож с пятном спал. Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачало все. Мне так же, еще больше страшно было. «Да что это за глупость! – сказал я себе. – Чего я тоскую, чего боюсь?» – «Меня, – неслышно отвечал голос смерти. – Я тут». Мороз подрал меня по коже. Да, смерти! Она придет, она вот она, а ее не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал, тогда бы я боялся. А теперь и не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно. Я попытался стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный с свечой обгоревшей и зажег ее. Красный огонь свечи и размер ее, немного меньше подсвечника, все говорило то же. Ничего нет в жизни, а есть смерть, а ее не должно быть. Я пробовал думать о том, что занимало меня: о покупке, об жене, – ничего не только веселого не было, но все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь. Надо заснуть. Я лег было. Но только что улегся – вдруг вскочил от ужаса. И тоска, и тоска, такая же духовная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно, кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать. Еще раз прошел посмотрел на спящих, еще раз попытался заснуть, все тот же ужас красный, белый, квадратный. Рвется что-то, а не разрывается. Мучительно, и мучительно сухо и злобно, ни капли доброты я в себе не чувствовал, а только ровную, спокойную злобу на себя и на то, что меня сделало. Что меня сделало? Бог, говорят, Бог. Молиться, вспомнил я. Я давно, лет двадцать, не молился и не верил ни во что, несмотря на то что для приличия говел каждый год. Я стал молиться. Господи помилуй, Отче наш, Богородицу. Я стал сочинять молитвы. Я стал креститься и кланяться в землю, оглядываясь и боясь, что меня увидят. Как будто это развлекло меня, развлек страх, что меня увидят. И я лег. Но стоило мне лечь и закрыть глаза, как опять то же чувство ужаса толкнуло, подняло меня. Я не мог больше терпеть – разбудил сторожа, разбудил Сергея, велел закладывать, и мы поехали. На воздухе и в движении стало лучше. Но я чувствовал, что что-то новое осело мне на душу и отравило всю прежнюю жизнь.

К ночи мы приехали на место. Весь день я боролся с своей тоской и поборол ее; но в душе был страшный осадок, точно случилось со мной какое-то несчастье и я только мог на время забывать его, но оно было там, на дне души, и владело мной.

Мы приехали вечером. Старичок-управляющий хотя не радостно (ему досадно было, что продается именье), но хорошо принял меня. Чистые комнатки с мягкой мебелью. Новый блестящий самовар. Крупная чайная посуда, мед к чаю. Все было хорошо. Но я, как старый забытый урок, неохотно спрашивал его об именье. Все невесело было. Ночь, однако, я заснул без тоски. Я приписал это тому, что опять на ночь молился. И потом начал жить по-прежнему; но страх этой тоски висел надо мной с тех пор всегда. Я должен был не останавливаясь и, главное, в привычных условиях жить; как ученик по привычке не думая сказывает выученный наизусть урок, так я должен был жить, чтобы не попасть опять во власть этой ужасной, появившейся в первый раз в Арзамасе тоски.

Домой я вернулся благополучно, именья не купил: денег не достало, и начал жить по-прежнему, с одной только разницей, что я стал молиться и ходить в церковь. По-прежнему мне казалось, но уже не по-прежнему, как я теперь вспоминаю. Я жил прежде начатым, продолжал катиться по проложенным прежде рельсам прежней силой, но нового ничего уже не предпринимал. И в прежде начатом было уже у меня меньше участия. Мне все было скучно. И я стал набожен. И жена замечала это и бранила и пилила меня за это. Тоски не повторялось дома. Но раз я поехал неожиданно в Москву. Днем собрался, вечером поехал. Было дело о процессе. Я приехал в Москву весело. Дорогой разговорились с харьковским помещиком о хозяйстве, о банках, о том, где остановиться, о театрах. Решили остановиться вместе на Московском подворье, на Мясницкой, и нынче же поехать в «Фауста». Приехали, я вошел в маленький номер. Тяжелый запах коридора был у меня в ноздрях. Дворник внес чемодан. Девушка-коридорная зажгла свечу. Свеча зажглась, потом огонь поник, как всегда бывает. В соседнем номере кашлянул кто-то – верно, старик. Девушка вышла, дворник стоял, спрашивая, не развязать ли. Огонь ожил и осветил синие с желтыми полосками обои, перегородку, облезший стол, диванчик, зеркало, окно и узкий размер всего номера. И вдруг арзамасский ужас шевельнулся во мне. «Боже мой, как я буду ночевать здесь?!» – подумал я.

– Развяжи, пожалуйста, голубчик, – сказал я дворнику, чтоб задержать его. «Оденусь поскорей – и в театр».

Дворник развязал.

– Пожалуйста, голубчик, зайди к барину в восьмой номер, со мной приехал, скажи, что я сейчас готов и приду к нему.

Дворник вышел, я стал торопиться одеваться, боясь взглянуть на стены. «Что за вздор! – подумал я. – Чего я боюсь, точно дитя? Привидений я не боюсь. Да, привидений... лучше бы бояться привидений, чем того, чего я боюсь. – Чего? – Ничего... Себя... Ну вздор!» Я, однако, надел жесткую, холодную крахмальную рубашку, засунул запонки, надел сертук, новые ботинки и пошел к харьковскому помещику. Он был готов. Мы поехали в «Фауста». Он еще заехал завиться. Я обстригся у француза, поболтал с французом, купил перчатки, все было хорошо. Я забыл совсем номер продолговатый и перегородку. В театре было тоже приятно. После театра харьковский помещик предложил заехать поужинать. Это было вне моих привычек, но, когда мы вышли из театра и он предложил мне это, я вспомнил о перегородке и согласился.

Во втором часу мы вернулись домой. Я выпил непривычные два стакана вина, но был весел. Но только что мы вошли в коридор с завернутой лампой и меня охватил запах гостиной, холод ужаса пробежал мне по спине. Но делать было нечего. Я пожал руку товарищу и вошел в номер.

Я провел ужасную ночь, хуже арзамасской, только утром, когда уже за дверью стал кашлять старик, я заснул, и не в постели, в которую я ложился несколько раз, а на диване. Всю ночь я страдал невыносимо, опять мучительно разрывалась душа с телом. «Я живу, жил, я должен жить – и вдруг смерть, уничтожение всего. Зачем же жизнь? Умереть? Убить себя сейчас же? Боюсь. Дождаться смерти, когда придет? Боюсь еще хуже. Жить, стало быть? Зачем? Чтоб умереть». Я не выходил из этого круга. Я брал книгу, читал. На минуту забывался – и опять тот же вопрос и ужас. Я ложился в постель, закрывал глаза. Еще хуже. Бог сделал это. Зачем? Говорят: не спрашивай, а молись. Хорошо, я молился. Я и теперь молился, опять как в Арзамасе; но там и после я просто молился по-детски. Теперь же молитва имела смысл. «Если Ты есть, открой мне: зачем, что я такое?» Я кланялся, читал все молитвы, которые знал, сочинял свои и прибавлял: «Так открой же». И я затихал и ждал ответа. Но ответа не было, как будто и не было никого, кто бы мог отвечать. И я оставался один, сам с собой. И я давал себе ответы вместо того, кто не хотел отвечать. Затем, чтобы жить в будущей жизни, отвечал я себе. Так зачем же эта неясность, это мученье? Не могу верить в будущую жизнь. Я верил, когда не всей душой спрашивал, а теперь не могу, не могу. Если бы Ты был, Ты бы сказал мне, людям. А нет Тебя, есть одно отчаяние. А я не хочу, не хочу его. Я возмутился. Я просил Его открыть мне истину, открыть мне себя. Я делал всё, что все делают, но Он не открывался. Просите, и дастся вам*, вспомнилось мне, и я просил. И в этом прошении я находил не утешение, а отдохновение. Может быть, я не просил, я отказался от Него. «Ты на пядень, а Он от тебя на сажень». Я не верил в Него, но просил, и Он все-таки не открыл мне ничего. Я считался с Ним и осуждал Его, просто не верил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.